



Литературно-художественный журнал
Харьковского отделения Союза писателей России

Основан в январе 2010 г. Выходит 6 раз в год

**Том 3
2010**

ХАРЬКОВ

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Ганичев В.Н. – председатель Союза писателей России, член Общественной палаты Российской Федерации, заместитель главы Всемирного русского народного собора, вице-президент Международной славянской академии, доктор исторических наук, профессор.

Котькало С.И. – сопредседатель Союза писателей России и Духовно-просветительского центра имени святого праведного Феодора Ушакова. Член бюро Президиума Всемирного Русского Народного Собора.

Скворцов К.В. – секретарь правления Союза писателей России, действительный член Петровской академии наук и искусств.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Председатель – Романовский А.Г

Главный редактор – Мачулин Л.И.

Отдел прозы – Глебова И.Н.

Отдел поэзии – Воргуй В.Р.

Редакция не ведёт полемику на страницах издания.
Переписка с читателями - по усмотрению редакции.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Адрес для писем: а/я 9127, Харьков, 61057, Украина.

e-mail: editor01@list.ru

Леонид МАЧУЛИН

Пути - дороги

Вот, говорят, «неисповедимы пути Господни...». Да так ли это? Разве человек живет неосознанно? Бездумно? Нет, всё, что совершается каждым из нас, делается «в здравом уме и твёрдой памяти» (мы не берём во внимание исключения из правил). Так почему же мир вокруг нас несовершенен? Наверное, потому, что человек не соблюдает те самые десять заповедей Божьих. И, как следствие, всю свою земную жизнь преодолевает трудности, им же и воздвигнутые. Да еще и на Господа кивает, мол, «неисповедимы...». Очень даже исповедимы!

На такой философской ноте я прочёл весь третий номер «Славянина». Его контекст – яркая иллюстрация вышесказанного. Начиная прямо с «Лучника» Виктора Крюкова. Сказано же: «Возлюби ближнего своего...» – а древнерусские князья в междоусобице, в преследовании мелких, корыстных интересов погубили нарождающееся государство. Народ-то выжил, да и семьи княжеские не все были сметены неумолимым потоком времени, а вот государства нету-ти!

Виктор Крюков живет и работает в Курске. Это его вторая книга. В полном объеме «Лучник» увидит свет в Москве в 2011 году. К сожалению, в полном объеме опубликовать повесть в одном номере невозможно, но и отказать себе в удовольствии первыми поздравить курян с новым именем редакция также не смогла...

Четыре временных отрезка иллюстрирует проза, представленная в третьем номере нашего журнала. Непростые времена становления государства Российского показаны в повести Екатерины Коротковой. И хотя прошло уже почти четыреста лет, как на престол взошла династия Романовых, споры историков и граждан общественно активных относительно событий того времени не умолкают до сих пор. И это правильно, и хорошо. Ведь только в спорах рождается истина! Да ещё к дискуссиям на эту тему приобщаются люди интересующиеся историей, что само по себе уже есть польза для общества. Как тут не сказать «спасибо» литераторам и историкам, профессионально выполняющим свою работу? Не субъективно, а взвешенно, всесторонне показать события и полувековой давности не просто, а тут – 400 лет...

Валерий Дашевский обратился к временам не столь отдалённым и ещё более болезненным, нежели история правления Романовых. А если точнее – то к самому концу правления этой династии и его последствиях. Судьба одного единственного человека из той, «прошлой жизни» показана на фоне становления

нового государства. И снова мы видим, как литератор профессионально выполняет свою работу. У людей с разным мировоззрением может возникнуть разное отношение к герою и его поступкам, но таковы законы художественной литературы. Однозначность, субъективность, предвзятость – это уже из отдела публицистики, мемуаристики, критики... Автору рассказа, дебютанту журнала «Славянин», хочется только пожелать успехов на творческой ниве.

А вот Владимир Пенчуков уже знаком постоянным читателям нашего журнала. Представляя на их суд небольшой рассказ «Премьера», автор словно завершает литературно-художественный экскурс редакции в историю. Сюжет его рассказа прост: актёр-аматор по счастливой случайности получает шанс показать массовому зрителю свой талант и он его не упускает. Но какова интрига! Какое беспристрастное повествование, за каждым словом которого клопочат страсти! И снова вспомним: «возлюби своего ближнего...». Нет! Любой ценой взойти на пьедестал, растолкав локтями, растоптав ногами, обругав последними словами – лишь бы добиться... Чего? Ведь народ не обманешь! Он может быть простоват, но житейская мудрость никогда не затмит ему глаза! В конечном счете, наверстав свою оплошность во времени, народ всё-таки отличит серебряную монету от глиняной, выкрашенной серебрянкой...

Девятнадцать авторов представлены в этом номере уважаемому читателю. Десять из них доверили редакции свои работы для первой публикации, с чем мы нас и поздравляем! Редакция будет стремиться и впредь знакомить своего читателя с новинками литературного процесса на постсоветском пространстве. В третий номер вошли произведения российских, украинских и белорусских авторов. Сеем надеяться, что со временем будет расширяться не только география авторов журнала (а в этом номере представлены десять городов!), но и расти международный ареал сотрудничества.

Еще одна новинка данного номера – рубрика «Из архива». Мы ввели её по просьбе авторов и читателей журнала. В этот раз в ней представлено несколько имён. Нельзя сказать, что они – забыты. Но в том, что с их творчеством, с сокровищницей нашей Литературы, должен познакомиться более широкий круг читателей, редакция не сомневается и по мере своих возможностей будет эту работу проводить.

Разновидностью знакомства читателей с литературным процессом будут и материалы в рубрике «Критика, рецензии». Конечно, обозреть весь массив современной литературы невозможно. Да редакция и цели такой перед собой не ставит. У каждого любителя книг есть свои предпочтения. Есть они и у нас. Каковы они – станет ясно каждому, кто будет регулярно следить за развитием этой рубрики.

... Когда человек всё делает «правильно», у него всё и получается. Тогда и «пути Господни» становятся исповедимы. Задумаемся над этим. Хотя бы во время чтения «Славянина».

Михаил КУЛИЖНИКОВ

СВЯТАЯ РУСЬ

(Поэма)

...не пойму
Куда несёт нас рок событий.
Сергей Есенин

...Сколько здесь людей протопало?
Быть каким здесь временам?
И пока не ляжем во поле,
Об Отчизне думать нам.
«Во поле», 1981

I.

Так вот ещё какие времена
Пришли в жильё, в поля и на погосты!
В семнадцатом звенели стремяна,
Аукнулись те звоны в девяностом.

И холодом повеяло из тьмы,
И всколыхнулись недра и просторы,
И, замершие, выпрямились мы,
Ища тропинки к высям и соборам.

И в сердце каждое запала грусть
На той земле, которой нет заветней...
Но мы увидели святую Русь
Великой, золотой, тысячелетней.

Да будут присно чистыми глаза!
Во что теперь взглядеться тёмным рекам?
А ты, животворящая лоза,
Ужели сгинешь вместе с падшим веком?!

2.

С востока солнце молодое
Бросает быстрые лучи.
Звени, кузнечик, слава долю,
И грусть обрामить научи!
Я грусть упрячу, как иконку,
Цепочку накрепко скрепив,
И звук бесценный, вечный, колкий
Возьму у неба и степи
Залогом праведного зова,
Пред коим весь как пред лучом...

О Русь!
Скорее выкуй слово
К сынам -
на чём стоять, на чём?!

3.

«Умом Россию не понять...»

... И что тут нынче понимать?
И что ещё тут надо мерить?
Россия - это наша мать.
А как же матери не верить?!

«Душа обязана трудиться...»

Душа!
Прошу Вас полениться.
Взгляни, как ночка хороша!
Я обязуюсь - удавиться,
Коль станешь ступою, душа!

«Гвозди б делать из этих людей...»

Чего уже ни делали из нас?!
И всё - аж искры сыпались из глаз.

А так и непонятно, - чёрт возьми! -
Мы из чего же сделаны людьми?!

4.

Что же вы, русские матери,
Стали рожать только раз?
Гении века двадцатого
Оптом убиты у нас.

В центре луга заболочены.
Выше - не косят траву,
Там и дома заколочены.
Пришлые взяли Москву.

От родовой отлучённые!
Вас «вознесли» - извели...
Лгут и лукавят учёные,
Будто мы все - из земли.

Там теснота неоплаканных.
И за живущих боюсь.
Что же вы, русские матери...
Как же поднимется Русь?!

5.

Наклоню эти кроны,
И церкви,
И небо
И под взрывы грозы
Да под пули дождя
Возглашу мировой
И последний молебен,
Прикажу сволочам:
- Воспевайте вождя!

И они запоют -
Заунывно и зычно,
Ибо окрик и страх -
До скончанья их бог.

И велю им подать
На съеденье
Пшеничный
Тридцать третьего года
Кровавый пирог.

Не подавится кто,
Так проглотит и сдохнет.
Нарыдайтесь и вы, кто узнал своего.
Но теперь замолчим.
Пусть во рту пересохнет!
Коли был Он таким,
Мы достойны его!

6.

«Что вы, хлопцы, приуныли?..»
Подпевайте, братья, мне.
Были, были дни иные
На родимой стороне.
Забывать их нам негоже,
Там огонь, снега, штыки...
Помним кровью, помним кожей,
Помним всё, фронтовики!
Наливай! Мы не напрасно
Гибли, мёрзли в чёрной мгле.
До конца под флагом красным
Остаёмся на земле.
Рвётся там, где больно тонко.
Живы мы и поживём!
Пусть потешатся подонки
На экранах. Мы споём!

7.

Позор найдёт хулителей России
И тех, кто ей убийственно вредил,
Когда она качнулась, обессилев,
И солнце позатмилось впереди,
И мрак окрест казался безысходным,
Не стало вдруг согласия меж людьми.
И, словно чужая кару преисподней,

Она шептала: «Боже! Вразуми!
Прости несчастных.
Вероломно клятва
Связала их, объяла как туман.
Пока напасть такая не иссякнет,
На царстве - узаконенный обман...»

Она сама в земле своей мессия.
Узнает мир зарю её и взлёт!

Позор найдёт хулителей России,
По именам потомкам назовёт!

8.

Ещё тяжёл и листьев трепет
И мглистой утренней травы,
И нелегки земного цепи...
Но вовсе не жестоки вы,
Кто мне отмщение готовит
Уже за то, что хороши
В моём
Зимой созревшем
Слове
Крупницы вашей же души,
Хотя их не дано увидеть
И озарённо оценить
Всем вам, привыкшим ненавидеть
И рвущим вызволения нить
Не потому, что вы свирепы
И отродясь и на века.
О нет!
Карающего века
Мы дети верные пока.

Так оглянёмся!
Море крови
За этим и за тем постом.
... Покуда миру служит Слово.
Не месть спасёт нас и потом.

9.

Животворящее начало!
Исток ты есть или итог?

Уже не вспыхнут пред очами
Цветы, уложенные в стог.
Увы,
Ушедшим не проверить,
Где нас Вселенной силы мчат,
И те, кого мы кличем - звери,
На человеческую речь молчат.
О чём ручей лепечет горный,
Предвосхищает что восток?

И кто рассудит, что есть корни,
Начало - что и что - итог?

10.

Ночное время крадучись идёт,
Дневное - скачет лучиком по стёклам.
Приветствую тяжёлый ледоход,
Скрежещущий о тонущие вёсла!

Израненные, выплывут они
И новою засветят синевую.
Так было вечно. Что же в эти дни
Не верую в победное живое?

Достать бы вербы, уберечь, обнять!
И сердце льдинкой звенькнуло и сжалось.
За мною речка побежала вспять.
О нет, слеза! Мне это показалось.

11.

Ещё движенье продолжают
Материки среди буйных вод.
Живому недра угрожают
И угрожает небосвод.

Себя живое сжечь готово.
Надломлен дух, ущербна плоть...

Но коль до сроков было Слово,
Неужто онемел Господь?

Иль, как икона, перекуплен,
Он тоже нынче вне Руси?
... Прости мне, брат!
Желанным утром
Всё меньше есть с кого спросить.

12.

О, поле снежное ночное!
Тебе не надобно тепла.
Тут зверь давно уже не воет...
Иду. И дума потекла
О тех, чьи выстелены кости
По всем равнинам и холмам,
О том, что все под солнцем - гости,
И что роптать на судьбы нам,
Когда и ближнему не верим, -
Уже научены всему! -
И в каждом нынче по два зверя,
О коих судим по уму,
Забыв, что ум есть зло и пламя,
Какое гасим кровью мы,
Костью устеливаем сами
Равнины эти и холмы.

- Святая Русь! А где она?
- Далёко.
- А где же суцая страна?
- Глубоко.
- О горе! В пропасти, на дне?
- В трясине.
- А что же выше? Что над ней?
- Осина.
- Друзья верёвку бросят в муть?
- Удавку.

- Куда же руку ей тянуть?
- Под лавку.
- Что ждёт её в конце концов?
- Дорога.
- Каких же славить молодцов?
- Лишь Бога.
- А что же Русь собрать смогла?
- Обличье.
- А как ещё назвать, о мгла?!
- Величье.
- Так стоя сирым Русь любить?
- Да, стоя.
- Какою ей на свете быть?
- Святою.

Ноябрь 1989 – Январь 1990

Подписку на журнал «Славянин» на 2011 год можно оформить в отделениях Укрпочты и непосредственно в редакции - в том числе по телефону и по электронной почте. Кроме того, редакция высылает отдельные номера. Стоимость одного экземпляра - 30 грн.

**Редакция журнала «Славянин», а/я 9127,
г. Харьков-57, Украина, 61057.**

**Электронная почта:
editor01@list.ru**

Виктор КРЮКОВ

ЛУЧНИК

Историческая повесть*

Глава 1
СЛАВНЫЙ ГОРОД КУРСК
(середина мая 1616 года)

Неприметная лесная дорога, сторонясь оврагов и распадков, затейливо петляла среди высоких деревьев и густого кустарника. Она то уходила в низину, то поднималась на пригорок, обтекая давно упавшие стволы, или упираясь в те, что старость или непогода подкосили недавно.

Глухомань... Путнику в самый раз одежду на изнанку выворачивать**, чтобы леший не заморочил. Только куда страшнее другое: за очередным непроглядным поворотом могло таиться всякое лихо. Ладно, если зверь дикий, куда хуже – человек лютой. От такого не открестишься...

Солнышко, едва выбравшись из утренней дымки, с трудом пробивалось сквозь свежую майскую листву, но птицы уже давно распелись, не обращая внимания на людские опаски. В их хор грубо вклинивалось тележное громыхание и жалобный скрип давно не смазанных колесных осей.

Кроме поклажи самого возницы – бочки бортного меда, на телеге скромно разместились незавидные вещички двух мужиков – попутчиков, что еще в Рьльске сговорились вместе добираться до Курска. Сами они, сбросив выдавшие виды сапоги, привычно-босые топали рядом – в такт невозмутимой саврасой лошаденке. Один лет сорока, другой годков на десять моложе.

– Дюже шумно едем, – вздохнул старший, с черной, как смоль, кудлатой бородой. – За версту слышать. Того и гляди, лихих людей соберем со всей округи. Сподобил же нечистый от воинского обоза отстать...

– Не каркай, Никишка, – усмехнулся другой и раскатисто кашлянул на весь лес. С ближней сосны испугано взвилась какая-то большая птица, возмутитель спокойствия проводил ее полет единственным глазом – через другой наискосок проходил глубокий шрам – и продолжил:

– Бог не выдаст, татарин не сцапает. Держись за авось, поколе не сорвалось... Даром что ли свечку на дорогу поставили Николе-угоднику? Он поможет.

*Повесть «Лучник», из которой здесь представлены первые восемь глав, выходит отдельной книгой в одном из московских издательств в 2011 г.

** Приём «одежу на изнанку выворачивать» помогал, согласно старинному поверью, при угрозе сбиться с дороги по причине происков лешего

– Авоська веревку вьет, небоська петлю накидывает, – невесело отозвался чернобородый и продолжил: – Тебе, Гринька, вольно – ни семьи, ни хозяйства. Да и человек ты пришлый, невесть какого звания. Что в полон попадешь, что в Сечь Запорожскую уйдешь или на Дон – как и не было тебя. А того проще – кистень* за пояс и в лес по зипуны**. Вона и прозвище у тебя, как у разбойника, коим мамки ребятишек по всей Руси страшат – Косолап. А у меня в Курске дети малые, жена на сносях – жалко их. Опять же кузня...

– Да ты на себя-то глянь, – засмеялся Гринька, выказывая изрядную недостатку в зубах. – Росту саженого, ручищи, что оглобли, и обличьем – как есть разбойник. С твоей рожей в самый раз на большую дорогу. И топора не надо... Дети у него малые.

– На все воля Божья, – не оборачиваясь, поддержал разговор дюжий возница. – Глядишь, доберемся... Хотя, в нынешний год, как снег сошел, крымцы сильно по дорогам озоровать стали. Многие из курских сгнули. Опять же литовские люди рыщут – никак не угомонят их. Сказывают, поляки снова на Русь войной пошли...***

На время установилось неуютное молчание, но скоро Гринька снова растянул в ухмылке щербатый рот:

– Утешил, благодетель. Спасибо тебе. Тогда чего уж тянуть? Может, сами степняков поищем или еще каких татей? Вот, дескать, мы, вяжите нас.

Через дорогу рыжей молнией проскочила белка, едва не попав под копыта лошади. Возница опасливо перекрестился – плохая примета:

– Помню, года три тому заяц так же, – начал Никишка, опасливо озираясь, – у Левиных яруг, что недалече от Бакаева шляха...****

Но его перебил Гринька–Косолап, запустив вслед пушистому зверьку увесистой сосновой шишкой:

– Бабьи страхи. На то и лес, чтобы в нем живность всякая водилась. От белки никакого вреда, кроме пользы – ежели на шапку. А от зайца и того больше... Ты, небось, хотел бы свинью навстречу***** и чтоб сразу жареная?

– Да чего стеречься-то? – продолжил возница уже с усмешкой, – Эвон, какой защитник у нас.

Он имел в виду парнишку лет четырнадцати, что сидел в телеге, опершись

* Кистень – любимое оружие разбойников. К короткой деревянной рукоятке на цепочке или ремне крепился металлический, костяной или каменный грузик-боек.

** «в лес, по зипуны» – разбойничать;

*** «поляки снова на Русь войной пошли» – избранный в свое время на Московский престол польский королевич Владислав не собирался отказываться от своих прав и признавать решения Земского Собора 1613 года. Сейм Речи Посполитой согласился поддержать его претензии военной силой, если будущий царь московский, в свою очередь, удовлетворит запросы Польско-Литовского государства. Помимо прочих, там было и требование передать Польше Северские города – Брянск, Стародуб, Чернигов, Почепа, Новгород-Северский, Путивль, Рыльск и Курск. В 1616 году началась новая война между Россией и Польшей.

**** «у Левиных яруг, что недалече от Бакаева шляха» – неподалеку от Рыльска;

***** «свинья навстречу» – хорошая примера;

спиной о бочку. Такая привилегия ему была дарована попутчиками за сильную хромоту.

– Правда твоя, – согласился Гринька, – У него один лук чего стоит. А уж стрелы... Степняки его как узреют, так сразу медвежья болезнь на них и нападет, а мы тем временем – ходу...

Мальчишку, если верить его дорожным рассказам, в летошний* год помял медведь. Отец, спасая сына из звериных когтей, и вовсе жизни лишился. А больше у Ваньки – так его звали – никого не было. Для деревенской работы он стал не гош – вот и подался в город. Хотел было в Рыльск, но тот все еще бедовал от последствий осады, что учинил польский князь Лыко** со своим войском, и там лишний рот был в тягость. Потом ротмистр Корсак объявился, окрест грабить начал. Стало быть – в Курск.

– На паперти станешь Христа ради просить, – успокаивали его попутчики. – Подадут на жизнь несладкую. Куряне – они только с виду суровые***.

Но, судя по всему, такая перспектива Ваньку не устраивала:

– Мне бы в воинские люди. Я в лучном деле горазд – отец с дедом выучили...

Это вызвало бурный смех всех троих мужиков:

– Да ты же, паря, беглый, небось? – спросил возница, отсмеявшись. – А нынче вашему брату шататься меж двор не велено. Сразу сволокут. Кто таков, из какой деревни? На малолетство да на убогость не глянут.

– К тому ж, с твоей-то ногой на двор посадский и не пустят, – добавил Гринька–Косолап, – Не то, что к воинскому делу. При воеводе, знаешь, какие хваты службу несут? Один Иван Анненков с братьями чего стоит. По ихнему уставу всякий охочий до государевой службы должен быть собою добр, молод, резв и из пищали стрелять горазд. Потому знаю, что сам как-то удачу пытал. Купец бы тебе попался сердобольный – может в лавку возьмет...

– А мало ль, – усомнился Никишка, – Нынче в служилые люди по прибору поверстаться можно. Иной раз и гулящего примут, если совет складно. Людишек-то мало...

Этот разговор случился еще третьего дня, в самом начале пути... С воинским обозом было куда веселее. Хотя опаски и там хватало. Поднимались еще затемно, стараясь до восхода проехать побольше – самое безопасное от супостата время. Степняки по своему обычаю спали до первого луча солнца, потом молитва, а уж после... Как солнце зайдет тоже можно было двигаться с меньшей опаской – степняки дуванят. А вот днем глаз да глаз нужен, особенно вблизи военных сакм и шляхов****. Казачий разъезд, что сопровождал обоз, двигался впереди,

* «в летошний год» – прошлым летом.

** «польский князь Лыко» – лубенский урядник князь Семен Лыко в 1612 году подступал под стены Рыльска, но взять город не смог. Затем захватил и сжег дотла Белгород, после чего город был восстановлен уже на другом месте. К Рыльску он возвращался еще дважды – зимой 1615-16 годов и в 1618 году.

*** суровые – суровые.

**** сакмы и шляхи – военно-коммуникационные пути со времен печенегов и половцев.

стараясь загодя высмотреть приметы пришлых степняков или других лихих людей. Среди казаков был и крещеный татарин, который хорошо знал обычаи крымцев. И ежели что-то тревожило опытных проводников, обоз тут же забирался в самую глушь нехоженого леса, где ждали до вечера – береженого Бог бережет... Однажды утром возница-бортник и его попутчики не смогли сразу найти лошаденку, стреноженную в ночь на лесной поляне. Воинский обоз ждать не стал...

Один из поворотов лесной дороги принес одиноким путникам неприятную весть: в дорожной пыли отпечатались следы лошадей, никогда не знавших подков.

– Татарские, – единодушно решили притихшие мужики. – С дюжину верховых. Видать, в засаде стояли не дале, как час назад.

– Может, переждем где ни-то в кустах, – прошептал совсем заробевший чернобородый. – До ночи...

– Курск-то рядом совсем, – не согласился возница. – На дерево залезть, так видать будет.

С великой опаской двинулись дальше...

Скоро впереди сверкнула серебром водная гладь. Это была речная заводь, не усохшая со времени весеннего разлива. Сейм здесь длинным рукавом вдавался в свою пойму, упираясь дальним краем в старое болото. Не объедешь...

– Отсель и вовсе близко, – успокоил возница. – Реку перейдем, а там – верст шесть. Брод мелкий, к тому же, сторожа казачья недалече...

Но благополучно завершить путешествие не получилось. Когда телега, достигла середины неглубокой заводи, на противоположной стороне из-за прибрежных кустов показались трое конных. Это были степняки – то ли крымцы, то ли ногайцы. Несмотря на теплую погоду, в овчинных полушубках мехом наружу и такого же обличья шапках. Луки уже на изготовке. Не уйти.

– Урус, – прокричал один из них, поднимаясь в стременах. – Не балуй. В полоне тоже жить можно... Что стал? Ехай к нам, а то хуже будет...

Говорил он по-русски почти чисто – видно, практика была большая. Радостная улыбка обнажила полный рот молодых зубов, ослепительно белых на фоне загорело–грязного лица.

В плен очень уж не хотелось.

– Может, утечем? – жалобно прошептал чернобородый Никишка. Его трясло, как в лихорадке. – Рванем налегке назад – не всяка стрела в цель.

Но на берегу, который они только что покинули, уже маячили еще двое верховых.

– Подпустим ближе, – предложил Гринька, покосившись на собственное голенище, из-за которого выглядывала массивная рукоятка, – и в три ножа. Глядишь, и спасется кто.

– На все воля Божья, – истово крестясь, вздохнул возница. – Видать, на роду так написано.

На мальчишку никто из них внимания не обращал. Да, и не сгодится он

степнякам с его помятой ногой – отпустят. Впрочем, могли и зарезать, чтобы не навел княжьих казаков.

Но Ванька мыслил свое, не очень оглядываясь на взрослых. Прячась за высокими бортами телеги, он исхитрился натянуть тетиву на свой неказистый с виду лук и уже положил на нее стрелу.

– Опомнись, малец, – шикнул на него возница. – Всех нас угробишь.

Но было поздно, мальчишка быстро привстал, и первая стрела саженей с десяти, коротко пропев, вошла в горло одному из верховых на встречном берегу. Через мгновение вторая нашла глаз другого степняка – уже на противоположном.

Попутчики плюхнулись в неглубокую воду в ожидании свершения судьбы.

– Господи, помоги нам грешным...

Тем временем Ванька сшиб с коня и второго, из тех, что были сзади. Теперь он мог прятаться за объемистой бочкой, не опасаясь за тыл.

Степняки, не ожидавшие такого мгновенного отпора, опомнились – дважды они смогли потревожить дубовую бочку и даже достать ее содержимое. Но это было все, что они успели. Следующая стрела угодила в тот самый белозубый рот, из которого совсем недавно прозвучал совет русским не сильно огорчаться пленом.

Оставался всего один степняк, который пустился наутек. Но и его жизни не суждено было слишком затянуться – оперенная смерть достала его на самом излете...

Воцарилось мертвое молчание, которое робко прервал Ванька:

– Эй, дядьки. Живы ли?

Те были целы и невредимы. Лихорадочно помогая лошаденке, уперлись сзади в телегу и рванули, как могли быстро – подальше от гиблого места...

– Стрелы собрать бы, – начал было мальчишка, все еще сидя за бочкой. – Батька сам железки ковал.

Но мужики, задыхаясь на бегу, наперебой возразили:

– Мы тебе, заступник, в Курске и стрел, и чего хошь...

Их попутчик раньше не выказывал своего лучного мастерства. На привалах уходил в лес и неизменно возвращался с изрядной добычей. Стало быть – умеет. Только утка или заяц – это одно, а пятеро оружных татар – совсем другое...

Остановились, лишь когда впереди показалась первая городская сторожа. Лошаденку совсем загнали, да и сами – едва ли не дух вон. Упали в траву.

– Мелок брод, да воды полон рот, – прохрипел Гринька.

Едва отдышавшись, возница начал осматривать поклажу – не сползли ли во время скачки обручи на бочке, из которой все еще торчали татарские стрелы. С сожалением буркнул: – Мед испортили, нехристи, – и укоризненно посмотрел на Ваньку.

Никишка же восхищенно глядя на мальчишку, сказал:

– Никогда до сель не видывал, чтобы так стреляли. Не иначе – слово знаешь. Среди княжьих удальцов тебе самое место. А мы подтвердим...

– Опять же в разбойники можно, – добавил Гринька–Косолап. – Не пропадешь...

Курск во всей красе открылся неожиданно, с вершины холма, где стояла высоченная сторожевая вышка. Здесь дорога вырывалась из объятий леса и выходила на широкий простор. Сразу стало веселее. Да и город, уже близкий, предстал как из сказки. Крепость над обрывистыми белесыми склонами кичилась мощными башнями, где-то еще свежее срубленными, где-то свинцово-темными от времени. В ярком солнечном свете крытые тесом шатровые крыши башен-старожилов цветом напоминали старое потускневшее серебро, которое, тронь ветошью – заблестит.

Городская стена по уклону противоположного холма спускалась в сторону путников, открывая внутренне устройство посада и части крепости. На общем сероватом фоне выделялись яркие навершья храмов.

Никишка дернул за рукав мальчишку:

– Глянь-ка, Ваньша, монастыря Знаменского маковки золотятся. – Потом истово перекрестился. Его примеру последовали остальные.

– Иконы-заступницы ноне в Курске нет, – продолжил, вздохнув, чернобородый. – Но ты, парень, зайди в храм этот, помолись Богородице – она поможет. Только лук свой на паперти оставь.

– Сопрут, – хмыкнул Гринька. – Нет вора пуще курянина.

Поравнялись с красивой церковью, что стояла на подходе к городским воротам в окружении слободских разного чина построек. Мужики, а с ними и Ванька, поскидали шапки и снова стали креститься на резные маковки.

– Егория это церква,* – пояснил Никишка. – Он в ратных делах первый помощник.

С надвратной иконы строго и беспристрастно взирал лик святого. В этих местах воинским мастерством его удивить было непросто.

– Поможет, – кивнул Гринька-Косолап, – да не всякому. Тем, кто и сам не промах.

По шаткому мосту переехали неширокую реку.

– Это Кур-река, – пояснили Ваньке. – Не велика, да вонюча.

– Как в город войдем, – добавил чернобородый, – нужно в Никольской церкви** свечку поставить – выручил святой угодник.

* «Егория церква» - храм Георгия-Победоносца, располагавшийся в Курске «...за Куром» . Первое упоминание в исторических хрониках – под 1612 годом.

** Никольская (Николаевская) церковь - именовалась также «Никольская на торгу» - впервые упомянута в исторических хрониках под 1608 годом, стояла примерно на месте западной части дома №6 на Красной площади («шестерка») и прилегающей улицы Радищева. В описываемое время во многих русских городах храм, посвященный этому святому возводился именно рядом с торгом (рынком);

Но Косолап в город не пошел – пропал куда-то на подходе.

В Георгиевские ворота* путников пустили без лишних вопросов. Дюжий воротник, опершись на тяжелую пищаль,** посмотрел косо на лук и колчан со стрелами за спиной ковылявшего за телегой мальчишки, хмыкнул и отвернулся.

Это был первый город, который Ванька увидел изнутри – в Рыльск пару недель назад попасть не удалось. Увлечшись непривычным для себя зрелищем, он незаметно отбил от попутчиков и остался один.

– Не зевай, парень, – гаркнул на него поспешающий по своим делам дюжий верховой казак в шапке набекрень. На ходу, в полруки, огрел неловкого парня плетью и уже в след добавил:

– Уноси лапти, малец. Здесь тебе не деревня, здесь славный город Курск...

Глава 2

«ТЕБЯ ЗДЕСЬ НЕ ЖДАЛИ...»

Курск сразу навалился на Ваньку шумом и непонятной для деревенского жителя суетой. Народу много, все куда-то спешат, а кто к какому делу приставлен – сразу не разберешь. Заборы вдоль улиц крепкие – не то, что плетни деревенские, за этими изб-то не видать. Из-под тесовых ворот псы лютые скалятся. Да и народ какой-то неприветливый: никто не здоровается, всяк с ножом за голенищем, а воинские люди и того суровее – не подступись.

Попытка выпросить у прохожих про своих попутчиков ни к чему не привела:

– Шел бы ты восвояси, малец. Таких Гринек да Никишек здесь вдоволь.

Ванька долго бродил по затейливому переплетению улиц. Город – городом, но деревней и здесь пахло: такие же куры в пыли копаются, такие же свиньи в лужах. Вот прогнали стадо коров...

Наконец он вышел к глубоченному рву – оврагу, за которым возвышались почерневшие от времени дубовые стены крепости. На ту сторону вел неширокий мост с истертым тесовым настилом, уходившим в открытые ворота высокой башни с шатровой крышей. По мосту в обе стороны то и дело сновали верховые, грохотали телеги со всяким добром.

Крепость... Вблизи она не казалась такой уж нарядной. Но по разумению мальчишки, как раз туда ему и нужно было попасть. Его остановил стрелец, что стоял у входа на мост, опершись на бердыш:

– Тебе чего, малый?

Ванька попытался растолковать, но стрелец рассмеялся, не дослушав, и добавил:

– Топай отсель... Да поспешай, пока не стемнело, ночью озоруют в городе.

* Георгиевские ворота - упоминаются в курских исторических хрониках единственный раз – под 1612 годом;

** Пищаль - огнестрельное оружие с фитильным замком, предшествовавшее мушкету.

Не лихие прибьют, так сторожа.

Служилый человек за плечи развернул Ваньку и не сильно толкнул его в спину. Потом, уже вдогонку, добавил:

– На торге переночуй...

Солнце уже шло к закату, но Курск все еще не мог уgomониться.

Узкие извилистые улицы своими устьями сходились к огороженной тыном площади. С одного ее края теснились в ряд казенного вида избы, возле каждой – стрелец в красном кафтане и при пищали, с другого – приземистые купеческие лавки. В глубине площади стоял терем в два жилья (этажа) с резным всходом (крыльцом). А посредине, уже затухая к вечеру, шла конская торговля.

Ваньке подумалось, что как раз там могли быть Гринька с Никишкой. Небось, тоже обыскались недавнего попутчика. Но у широких ворот его неприветливо встретили воинского обличья люди:

– Не иначе, как скакуна заморского желаешь купить, парень? А что ж припоздал на посадский двор?

– Не-е, – поддержал товарища другой служилый, поигрывая блестящим бердышом. И, не дожидаясь объяснений мальчишки, уточнил, сам не зная, что попал в самую точку:

– Это он с воеводой беседовать желает. Сейчас кликну Ивана Васильевича. Вмиг примчится...

– А как тут не примчатся, коли гость дорогой, как раз к ужину приспел...

Стрельцы еще долго издевались над мальчишкой – им было скучно. Но Ванька на них не обижался, он понял, что на этот раз не ошибся – воевода здесь. Но хода на шумный двор ему сегодня не будет.

Мальчишка попятился от ворот и едва не угодил под копыта высокого вороного жеребца, на котором крепко сидел чудно одетый дядька: красные шаровары, богатые сапоги, не по-здешнему расшитая белая рубашка. На боку – сабля в каменных, из седельной кобуры выглядывали отделанные серебром рукоятки диковинных пистолетов. Шапка заткнута за кушак, голова бритая, только на самой маковке – чупрына, спускавшаяся по виску до пышных усов.

– Геть, бисова детина, – прикрикнул на Ваньку конный. – Коль очей на затылке нема, ходи передом.

Но присмотревшись к Ванькиной хромоте, казак помягчал:

– Не зашиб ли я тебя, хлопчик? Ты, видать, не курский. Если удачу здесь шукаешь, то зря. У курян и без тебя хлопот полон рот. Правду кажут: близь границы не строй светлицы.

Конный покопался в седельной суме, достал оттуда кусок сала в белой тряпиче, отрезал здоровенный пласт и, нагнувшись с седла, протянул его мальчишке:

– Голодный, небось?

Потом извлек из кушака ярко блеснувшую монету и бросил ее мальчишке:

– Спрячь на черный день. У тебя таких деньков богато будет.

Уже проезжая мимо стражников, казак погрозил им увесистой нагайкой:

– Не обижайте парня...

– Мартын Пушкарь, * полковник из Сечи, – проворчал один из них, провожая взглядом удаляющегося верхового.

Другой добавил, не отводил глаз от Ванькиного кулака, в котором он все еще сжимал монету:

– Сегодня с нашими начальниками дружбу водит, а завтра снова со своими хохлами город на зуб пробовать станет... Вольный человек.

– Отвага мед пьет и кандалы трет.

– А у нас, за что ни хватать – то ерш, то еж...**

Ванька спрятал монету в заглашник, сало – в котомку и решил, что ему в самый раз убраться.

Тут только он почувствовал, что сильно устал. К тому же ныла раненая нога. Да и в животе с голода урчало. Последнему обстоятельству сильно способствовал смачный запах одного из подарков. Даже уличные собаки начали кучковаться за спиной.

Трудный день подходил к концу, и нужно было как-то устроиваться на ночь.

Торг был неподалеку – рядом с церковью Николы-Угодника, коего попутчики Ваньки благодарили за избавление от полона. Торговли уже не было, но приезжий люд, что попроще, восвояси не спешил. С утра – оно вернее. Ночевать расположились прямо там же. Все как в походе воинском: распряженные лошади – посредине, телеги – полукругом, а с открытой стороны – несколько костров, возле которых торговый люд простого сословия готовился трапезничать. Всякого пошиба оружие рядом: топоры, дубины сучковатые, а то и пищали. Георгиевские ворота рядом, там крепкая стража, только, известное дело, Бог бережет только береженого.

Ваньку поначалу и здесь встретили неприветливо:

– К босым по лапти пожаловал? Как бы проведать, где пообедать?

Но, разобравшись, пригласили отужинать. Кусок сала, подаренный заезжим казаком, быстро перекочевал в глубокий медный котел...

После наваристой похлебки, сочувственно выслушав рассказ мальчишки о его житье-бытье, один из сотрапезников – здоровенный рыжебородый мужик по прозвищу Тимоха – сказал, едва ли не слово в слово повторив давешнего казака:

– Тут тебя не ждали. У них своих бед вдоволь: то татарин, то лях, то хохлы из Сечи. Служи царю и не хнычь – ино скоком, ино боком, а ино и ползком.

Потом присоветовал:

– Ежели и в правду к лучной стрельбе привычен, то промышляй пока охотой. Далеко ходить не надо – близь Курска, за Тускарью, мест много. Осмотрись, да

* Мартын Пушкарь – реально существовавшая личность, полковник Запорожской Сечи, впоследствии, герой Освободительной войны на Украине;

** Пословицы и поговорки из словаря Владимира Даля.

пообвыкни для начала...

Уже давно стемнело. Городских построек за тем кругом, куда доставал свет от костра, видно не было вовсе. Только сторожа перекликались поодаль, звонко стучали в свои колотушки, да люто грызлись псы в стороне посадского двора.

– А крыша над головой, – продолжил рыжий, хрустко почесываясь в косматой шевелюре, – так попросись в Божедомский монастырь. Ты телом скорбен – примут...

Ночью Ваньке приснилась родная деревенька. Батька – живой и веселый – мастерит стрелы и складывает их в колчан сына. Дед рассказывает что-то из своей богатой на приключения жизни. Мамка с сестренкой готовят нехитрый ужин. Потом они с отцом идут по незнакомому лесу. Потом отец куда-то пропал. Ванька зовет его, ищет, но найти не может. Лес все гуще и страшнее. Меж густых ветвей впереди мелькает яркий сестрин платок, а не догнать...

Проснулся мальчишка в слезах. Солнце только обозначилось на востоке, сотрапезники еще спали. Стараясь их не беспокоить, Ванька долго украдкой хлюпал носом и вспоминал свою недавнюю жизнь.

На рассвете деревенские споро собрались и пустились в обратный путь.

– Держись, парень, – попрощался Тимоха. – Бог, он по силе крест налагает.

Ванька снова остался один в непонятном и совсем не гостеприимном городе. Он решил последовать советам Тимохи и для начала присмотреться к городскому житию. А пока можно и к монастырю прибиться.

Чтобы не являться к божедомам с пустыми руками, нужно было поискать охотничьих мест и разжиться дичью. В паре верст от городских стен, за речкой, он нашел несколько болотцев, где дикой водяной птицы было вдоволь.

Это дело было привычным, и уже скоро Ванька с дюжиной уток двинулся обратно. Служивый в Георгиевских воротах, увидев богатую добычу, удивился:

– Эх ты скоро, малец. Неужто сам настрелял? Ловок...

Пришлось поделиться – одна утка переместилась в мешок стрельца.

– Ходи здесь почаще, паря, – напутствовал он охотника, – стреляй без промаха и меня грешного не забывай угощать.

Привратнику в калитке Божедомского монастыря тоже пришлось выделить на его беспросветную старость, но все равно оставалось много.

Сурового обличья монах–управитель в сильно поношенной рясе и в клубуке, надвинутом, как воинский шлем, до самых бровей, молча выслушал Ванькин рассказ. Долго и цепко его оглядывал, время от времени переводя взгляд на связку утиных тушек.

По наказу вчерашнего сотрапезника, Ванька поведал о себе не все и сильно приврал: он, дескать, стрелецкий сын из Путивля, отца убили в дороге, когда они вместе ехали по торговым делам в Курск.

Судя по тому, как недоверчиво монах покосился на изношенные в прах лапти мальчишки и на его незавидный армяк, рассказу он не поверил, но промолчал. Потом как-то не по-монашески сдвинул клубук на затылок, выказав при этом

глубокий косой шрам на лбу, проворчал:

– Ладно, стрелецкий сын, живи пока... Будешь двор монастырский прибирать и братию дичинкой баловать – когда пост не возбраняет...

Работы монастырской у Ваньки было много. Монах-управитель (все величали его отцом Аввакумом) до чистоты и прочего порядка был строг и спуску никому не давал:

– Для Бога трудитесь, не для меня грешного.

На охоту иной раз и времени не было. Но скоро Аввакум уразумел, что от его нового трудника можно извлечь неплохую выгоду и помимо того, что подкармливать братию.

– Монахи и послушники жиреть стали с таких харчей, – ворчал он всякий раз, как мальчишка возвращался с охоты. – Становись, паря, в нашу лавку на торге и смотри, не продешеви. Да возьми в кладовой сапоги, что от покойного отца-келаря остались. Хватит уж в лаптях – то шастать...

Соседи по ряду вначале посмеивались над нескладным с виду парнишкой:

– Глянь, купец какой объявился. Скоро всех уток окрест перестреляет. Запасайся, ребята, пока не поздно...

Однажды на торге к Ванькиному товару стал прицениваться посадский дворовый. Оказалось, что он знает толк в охоте, а того пуще – в лучной стрельбе.

– Эту влет сбил, – одобрительно хмыкнул дворовый, присмотревшись к одной из утиных тушек. – Не простое дело. Ты, парень, приходи завтра в крепость. Там служивые люди будут воинское мастерство показывать, а с ними и те, кто в службу записаться хочет. Покажи и ты себя...

Глава 3

СТРЕЛЕЦКАЯ ШАПКА

На следующий день было воскресенье. Ванька отпросился у своего монастырского начальника и с опаской пошел к острогу – а вдруг снова не пустят. Но через крепостной мост народ валил толпой и впускали всех.

Обширная открытая поляна, которая открывалась сразу за крепостными воротами Пятницкой башни,* в осадное время, когда к городу подступал враг, вмещала в себя едва ли не все курское население – с коровами и прочей живностью. Чуть поодаль темнели осадные дворы горожан, кто побогаче – те и здесь размещались с удобствами. Но сейчас поляна была предназначена для воинских забав, а в этом деле все были равны.

* Пятницкая башня – главная въездная башня Курского острога. Располагалась, примерно, на территории нынешнего дома №2/4 на Красной площади. Называлась по имени церкви Параскевы-Пятницы, стоявшей неподалеку. По традиции того времени, храмы, посвященные этой христианской святой, стояли рядом с городским торгом.

Народу много, шумно. Там и сям продавали медовуху, пиво, пироги, пряники, орехи. Подальше от начальственных глаз балагурили скоморохи. Нищих на поляне едва ли не больше, чем остального люда – божедомы из своих келеек повылазили.

Ванька было растерялся – как разобраться в этой суете? Но решилось все самым неожиданным образом. Едва ли не лбом он столкнулся с чернобородым Никишкой – своим попутчиком по дороге из Рьльска. Тот радостно схватил парнишку здоровенными ручищами и расцеловал, пахнув крепкой медовухой. Объяснил товарищам, стоявшим рядом:

– Это тот самый малец, что от татар меня оборонил. А вот и лук с ним.

Никишка с приятелями взялись помогать Ваньке. Нужно было вписать его в длинный список, что заполнял тщедушного вида остроносенький писец, с парой запасных перьев за ухом. Но, взглянув на мальчишку, тот наотрез отказался:

– Ежели мальчишку к состязанию допустить – опытным воинам обида будет.

Помягчал казенный человек, лишь когда Никишка дал ему изрядно хлебнуть из бутылки. Сразу смекнул:

– Обозначим мальчика, как записного лучника Божедомского монастыря...

Скоро крепость огласилась ружейной стрельбой. Поначалу служилые люди палили из зависных пищалей. Такие предназначались для похода и носились на плече – потому и зависные. Были еще затинные – для стрельбы из укрепления, но эти требовали большого расхода пороха, их применяли только при сильной в том нужде. Все это втолковывал Ваньке его чернобородый приятель с товарищами, время от времени прикладываясь к штофу.

Сажень* за пятьдесят от стрелка в землю было вкопано короткое бревно, а к нему прислонена избитая в предыдущие стрельбы дубовая плаха высотой в человеческий рост, посредине которой красовалось наколотое на гвоздь румяное яблоко.

– Кто первый пулю в яблоко положит, того воевода коровой одарит, – пояснил Никишка, – или шапку со своей головы отдаст.

...Тяжелые пули звучно выбивали щепки из плахи, кучно ложились вокруг заветной цели, но не больше. Дыму много, толку мало,

Вышел молодой казак в богатом кафтане и красных сафьяновых сапогах с загнутыми носами.

– Это полусотник Сунбул Анофриев,** – пояснили Ваньке. – Лихая голова. Его дело – сабля да конь борзый, ан дело стрелецкое ведает крепко. Видишь, шапка на нем золотом шитая – воевода в летошний год подарил. Да у Сунбула и своя не хуже – с князя татарского добыл намедни вместе с головой.

Полусотник покрепче вбил в землю втык*** бердыша, привычно положил на

* Сажень, в данном случае – 2,16 метра;

** Сунбул Тимофеевич Анофриев – знаменитый сотник, «служилый человек по отечеству», то есть – наследственно. В Курских хрониках упоминается неоднократно как победитель татар и поляков.

него ствол пищали, подул на фитиль и стал целиться.

Толпа притихла в ожидании, и выстрел грохнул почти в полной тишине. Пуля прошла мимо, но чуть позже обнаружилось, что она срезала у яблока сухой хвостик.

Зрители и участники сразу разделились на два лагеря:

– Промазал Сунбул, не считается... Нет, попал – шапку ему... Да у него уже одна есть... В прошлом году вlepил так, что от яблока и кусочка не сыскали...

Спор разрешил сам полусотник, в сердцах отшвырнул пищаль, и нещадно смял на голове знак прошлогодней победы.

Последующие стрелки с первого выстрела тоже ничего не добились

– Теперь плаху ближе придвинут, – пояснил Никишка с досадой, – а подарок воеводин никому не достанется.

Толпа тоже была разочарована:

– Иль в Курске стрельцы хваткие перевелись? Пускай из пушки картечью стрельнут – может, не промажут...

– Отца Аввакума кликнуть – уж он–то дело знает. Да ему по чину ныне не положено.

Оказалось, что речь идет о том самом монахе-управителе Божедомского монастыря.

– Тому года четыре еще – знатный вояка был. Теперь грехи замаливает...

Тем временем кто-то из зрителей шаткой от выпитого походкой направился к воеводе с явным желанием поговорить. Заношенный до крайности стрелецкий кафтан и сплошь дырявые сапоги выдавали в нем человека, которого по какой-то причине «изринули» с воинской службы.

Подойти близко ему не позволили, зато тут же отвесили пару зуботычин:

– Не суйся, куда не просят, Гришка.

Но отставного стрельца это нисколько не смутило. Утирая кровь из разбитого носа, он крикнул, обращаясь к воеводе:

– Иван Васильевич, отец родный, дозвожь стрельнуть при честном народе. Ты ведаешь – умею...

Но воевода не разрешил, и Гришку вытолкали в задние ряды.

– На тебя, Ваньша, последняя надежда, – как бы невзначай с улыбкой сказал Никишка. – Попади – и шапка княжья твоя.

Ванька молча снял лук с плеча, вытащил из колчана стрелу и положил ее на тетиву.

– Глянь–кось, убогий, а туда же... Дыры в сапогах залатай, божедом, а уж потом за лук берись...

Это кричали те, кто ничего не знал о Ванькиных талантах. Впрочем,

* Втык (вток) бердыша – на нижний конец деревянной рукоятки стрелецкого топора надевался железный наконечник. Бердыш, воткнутый вертикально в землю, служил опорой для тяжелой пищали при стрельбе;

раздавались и другие голоса:

– Да пусть стрельнет. Ежели нос нашим воякам утрет – только на пользу.

Но первых было больше, и они не собирались расступаться, чтобы дать мальчишке обзор.

– Вона, коршун в вышине вьется – сбей его, тогда уж глянем, пущать тебя или взащей вытолкать.

Красивая птица, почти неразличимая в стороне яркого солнца, парила высоко над толпой людей, не ожидая подвоха.

– Жалко птаху, – негромко возразил Ванька. – В пищу не годится.

Это вызвало взрыв смеха.

– Ты стреляй, а коли не промажешь, я тебе барана подарю – он съедобный.

Тетива Ванькиного лука натужно заскрипела, выказывая окружающим, что это совсем не детская игрушка. Потом звонко цокнула, отправляя стрелу под облака. Через мгновение коршун рухнул, как раз к ногам воинского начальства, собравшегося у рубежа пищальной стрельбы.

Протестующие голоса сразу смолкли, и ближние к мальчишке куряне покорно расступились, давая ему возможность стрелять по мишени.

– Все равно птицу жалко, – повторил Ванька и достал вторую стрелу. Целился недолго – эта вошла в середину яблока, разрубив его на две равные половины. Их быстро подобрали зрители, что стояли поближе к мишени, и тут же съели. Не обошлось без потасовки – такая добыча, по курскому преданию, приносила счастливчику стрелецкую сноровку.

Ваньку подвели к воеводе. Тот сидел в богатом резном кресле под натянутым меж четырех столбов цветным пологом. Отобрали лук с колчаном, сдернули с головы клобук.

Это был не старый еще человек, одетый в стрелецкий кафтан офицерского покроя, отличавшийся от прочих богатым сукном и золотыми шнурами на груди. Седая борода и того же оттенка вислые усы, но брови и волосы на голове – черные, как смоль. Шапка богатого шитья лежала на коленях, в руках нагайка с красивой рукояткой.

– Ты кто таков? – спросил он, смерив мальчишку суровым взглядом.

– Да это трудник из Божедомской слободы, – угодливо подсказал кто-то из-за спины князя. – Сирота убогий.

– И кто тебе, сирота, разрешил без спроса по мишени стрелять?

Ванька понял, что тут уже не отмолчаться и ответил:

– А как спросить-то, воевода Иван Васильевич? Вона, твои молодцы чуть что – сразу в зубы.

Все поняли, что мальчишка имел в виду недавний случай с отставным стрельцом.

Воевода улыбнулся в усы:

– Ну ладно, коль такой смелый – отведай моей плетки. Вертайся спиной. Поглядим, какой ты на расправу...

Воевода легко встал и полосонул мальчишку поперек лопаток тяжелой нагайкой. Тот даже не вздрогнул.

– Ишь ты, – удивился воевода. – Телом слаб, а духом крепок.

Тут со стороны зрителей раздались требовательные голоса:

– Шапку парню... Заработал...

– Слыхал? – рассмеялся князь. – Так чем тебя одарить? Корову желаешь или шапку княжью?

– Мне корова ни к чему, – ответил Ванька не задумываясь. – Да и шапка княжья тоже. В воинские люди записаться бы.

За спиной князя не сдержались от смеха.

– Чего ржете-то, – шикнул на них воевода, не оборачиваясь. – Все бы, как этот малец... А в стрельцы тебе парень рановато. Да и шапку княжью не по летам. Мы с тобой вот как рассудим: носи пока стрелецкую, но простую, а там поглядим...

Скоро Ваньке нахлобучили до самого носа почти новую стрелецкую шапку с верхом малинового бархата:

– Подрастай, малец. Будешь пока записным лучным стрельцом Божедомской слободы. Ежели кликнут – спеши в крепость.

Уже когда народ двинулся к Пятницким воротам на выход, Никишка схватил за рукав мужика, что обещал Ваньке барана. Как тот ни изворачивался и ни пытался обратить дело в шутку, кузнец стоял на своем. Сошлись на двух жареных гусях и бутылки водки...

С богатой добычей решили навестить отца Аввакума:

– Тебе, Ванька, рано еще хмельное пробовать, а начальник твой – выпить не дурак.

Монах после первой чарки со знанием дела осмотрел Ванькину обнову и одобрительно кивнул:

– Правильно, что ты к служилому делу прибиваешься. В наших краях иначе нельзя. Можно и ремесло надежное, как у Никишки, а и тогда служба лишней не будет. Я тоже первую свою стрелецкую шапку непросто заработал. Вот послушай, коли хочешь...

Кузнец уже наливал по второй. Выпили, крикнули, как полагается, и отец Аввакум начал рассказывать:

– Мои деды здесь спокон века жили. Охотились, рыбу ловили, пшеничку сеяли и ничьей власти над собой не ведали. На месте нынешнего города сплошь лес дремучий стоял да озерки студенькие разливались. В эти края тогда даже татары не хаживали – холмы да овраги непроезжие, а в низинах – болота. Дороги не зная, и соваться нечего.

Жили мы лесной деревенькой – семей десять всего. Путник рядом пройдет и не приметит. Только хатенки наши стояли не на большом холме, где ныне острог и посадки, а за Куром, на холме малом, где церковь Троицкая стоит. С большого холма уж больно круто до воды добираться было, тем паче зимой. А

нам без реки никак. Так вот наша деревенька и звалась – Курск.

Отец мой сказывал, что еще в его малолетство пришла к нам стрелецкая сотня.* Ребята все молодые, с гонором, до водки дюже охочие, а того пуще – до баб наших.

Только мужики наши тоже не промах – грызня началась, драки, поножовщина. Потом сотник ихний из Тулы явился, стрельцов виноватых измордовал в кровь, а наших не тронул. До первых морозов еще погостевали у нас, а потом восвоеси воротились.

Снова к нам жизнь спокойная вернулась. Мальчишкой еще, выйдешь из избушки, а под ноги тебе заяц или белка на ветках – рукой достать...

Лбы крестили – ан веру православную разумели слабо. Слава Богу, монах беглый к нашей деревеньке прибился, часовенку соорудил, начал втолковывать что к чему. Величали мы его – отец Савва. Русскому человеку без веры православной никак нельзя – все равно, что в море–окияне с парусом, да без руля. Человек этот пришлый меня и грамоте обучил.

Зелья порохового да пищалей у нас не было, луками обходились. С самого малолетства стрелять меня дед обучил. Когда-то умел не хуже тебя, Ваньша. Оно и сейчас, ежели придется, не оплошаю.

За солью и другим припасом, коего в лесу не раздобудешь, аж в самый Рыльск ездили. От тамошних жителей про дела дальние кое-что слыхивали, только где та Москва, как там люди живут – не ведали.

Один из наших деревенских кузнечным делом владел, да вот с железом закавыка получалась. Начал он по курганам окрестным копать – меч старинный вытащит, бронь старую или шлем ветхий. Иной раз серебро попадалось, а то золотишко. Стало быть, и до нас там люди жили и небедно. Отец Савва поведал, что на большом холме город большой стоял, да только сгинул без времени, когда враги лютые пришли.

Еще он сказывал, что место это славно было святым человеком, что жил там в старину еще отроком. Как в силу вошел, подался он в Киев–город, стал монахом в Лавре, и на стезе этой воссиял праведностью великой.** А когда он юношей в Курске жил, сам себе урок назначил – просфоры пек и бедным раздавал. Что вкусные получались, то ладно – болезни всякие от них проходили, дурь да кривизну духовную как рукой снимало. Говорили, будто все дело в воде, которую малец тот черпал из колодца, что на берегу Тускари, под городской стеной, сам же и выкопал.

Кроме него никто воду оттуда не поднимал – кому охота по кручам карабкаться с ведрами, а зимой и того пуще – по ледяному склону. Из озер-то куда удобнее. Парнишку отговаривали – шею сломаешь. Только он будто вериги тяжкие на себя возложил. Бывало, и сорвется, только, видать, берег его Господь –

* «...пришла к нам стрелецкая сотня» – реальное событие середины XV. Сам город начнут восстанавливать гораздо позже.

** «...и на стезе этой воссиял праведностью великой» – речь идет о Феодосии Печерском.

обходилось. Божье бережение, оно пуще человеческого.

И пошли мы с отцом Саввой тот колодец искать.

На большом холме одно место было, где среди леса густого угадать можно было древнюю городовую осыпь.* Валы земляные дождями оплывшие, рвы бурьяном заросшие. Должно быть, стены да башни крепостные когда-то там стояли. Только за века долгие все сгнуло, быльем покрылось.

Как раз там спустились мы с обрыва к реке, стали искать – не видать колодца. Уже солнышко низко, домой пора. Тут отец Савва помолился крепко на удачу праведного дела и помог Господь. Нашли мы гнилой сруб, по самый верх землей засыпанный. Воды в нем и в помине не было.

На другой день взяли лопаты и снова пошли. Принялись за работу – опять с молитвой крепкой. Сажень только прокопали вглубь, и вот те – вода. Чистая, студеная, и вкус у нее совсем не такой, как у озерной, – с солинкой.

Скоро мужики наши сруб новый в колодце поставили, кровлю соорудили, тропинку по склону устроили. Та вода от нутра сильно помогала, младней в ней купали. А уж с махмары** – первое дело.

Жили, не тужили, разносолов не ведали, но с голода не пухли. А главное – обиды нам никто не чинил. Но житье наше лесное кончилось в одночасье. Как-то по весне, утром, едва солнышко взошло – шум гам, голоса чужие. Выхожу из избы – с полсотни воинских людей, кто конный, кто пеший. По избам пошли, мужиков собирают. Смотрят сурово, чуть что не так – сразу в морду. Но не охальничают и по закромам не шарят. Потом объявили нам: крепость будут строить по царскому указу, а потому всяк, кто в силе, для этого дела надобен. Берите, мол, топоры и для начала валите лес там, где скажем.

Место для крепости выбрали как раз на старом городище. Работы много, стрельцы тоже без дела не сидят. Кафтаны свои красные поскидывали, пищали в сторону отставили и трудятся, сил не жалея...

К Троице крепость уже стояла: тын дубовый, четыре башни, из коих одна воротная – шестиугольная. Не сильно казисто, ан крепко. Старый ров углубили, вал подсыпали, церквушку поставили с маковкой затейливой. А что лес сыроватый на плотню пошел – долго не простоит – на то их старший так сказал: «Лиха беда – начало. Обживемся да осмотримся – новый острог поставим».

Другая жизнь пошла. Мужиков наших кого в городники*** записали, кого в стрельцы. Воли меньше, а достатка больше, потому как – на государевой службе. Кому не по нраву – ушли с семьями в дальние леса. Однако были и такие, кто купеческим делом занялись. Народу много, всех кормить нужно, припас всякий надобен. Кончилось наше медвежье житье.

А старшим у государевых людей был воевода Полев Иван Осипович.* Крутого

* Городовая осыпь – место, где стояла крепость, земляные валы и рвы.

** Махмара – похмелье.

*** Городники – строительных дел мастера, строившие деревянную крепость (острог) и содержавшие ее в надлежащем состоянии.

нрава боярин, спуску никому не давал, однако ж народ понапрасну не обижал. Да и дело свое знал. Первое время жил как все, в землянке, харчился с того же котла, что и остальные. Да и потом не сильно чинился. Как крепость поставили, в Москву его потребовали. Только курских Иван Осипович не забыл. Лет через семь-восемь его на новую государеву службу поставили, заехал он к нам, взял меня и еще троих с собой – Терский городок оборонять. Там его кумыки и убили. Сеча была страшная, мало кто из наших живым ушел.

Но это потом, а тогда в Курске затеял воевода колодец в крепости копать, потому как нужно, чтобы вода под рукой была, а не за стенами. Копаем, копаем – сухо. Глубоко уже, спускаться на веревках страшновато. Голову задерешь – где он, белый свет? А там пятнышко светлое с ноготок – и все. Внизу без лучины и не видать ничего. Опять же завалить может. Тогда-то Нелюб Огарев – голова при воеводе – посулил, что первого, кто до воды достанет, деньгами одарит. Только охотников копать не прибавилось, а скоро я один и остался. Два дня в одиночку трудился, а на третий мокро под ногами стало. Глядь, вода студеная уже по колено. Кричу верхним – вытаскивайте меня, а они трапезничать сели... Уже по пояс. Пока вытащили – продрог до костей. Воевода самолично изрядную чарку водки налил – для сугреву. Потом сруб соорудили, ворот с цепью приладили.**

Огарев слово сдержал и при всех одарил серебром. Деньги немалые, только я другое попросил – в стрельцы записаться. На то воевода говорит: «Молод еще, погоди пару лет», потом рукой махнул и разрешил. А на серебро я других стрельцов три дня водкой потчевал – шапку мою новую обмывали.

Только тот колодец, что мы с отцом Саввой у реки нашли и обустроили, горожане не забросили. Нынче воду из него бочками возят, дорогу крепкую наездили. Вода в срубе, не как раньше – высоко стоит и через край в Тускарь уходит. Ан тут хитрость одна имеется, которую не всякому знать должно. Подольше в Курске поживешь, да на службе приладишься – узнаешь...

Глава 4

ОХОТА НА МЕДВЕДЯ

Городская жизнь становилась для Ваньки все более понятной. Да и сам он примелькался в Курске. После событий в крепости многие здоровались, как с давним знакомым. Богатую стрелецкую шапку мальчишка носил не снимая.

– Тебе бы одежду поладнее, – посоветовал как-то отец Аввакум. – Опять же, обувка каши просит. Надо, чтобы под стать шапке. Только в монастыре ты

* Полев Иван Осипович – первый курский воевода. Построил крепость в 1597 году, погиб в 1605, защищая крепость Терки на реке Терек.

** «Потом сруб соорудили, ворот с цепью приладили...» – следы этого колодца на территории электроаппаратного завода сохранились и поныне.

ее не носи до поры – кlobук ладнее.

Ваньке даже прозвище в Курске пристало уважительное – Яблочко. Здесь едва ли не у каждого была своя уличная названь. Самого воеводу Ивана Васильевича за глаза величали Птицей. Но это было фамильное – так звали и многих его предков. А в Курске к нему прилепилось и другое – Твердолоб – за непреклонный характер.

Монастырское начальство все больше доверяло Ваньке всякие дела помимо его работы по уборке или торговли на рынке. «Пусть на ногу нескор, зато в дури всякой не замечен», – так говорил о парнишке сам настоятель.

...Чтобы добраться до Георгиевского храма, нужно было пройти через ветхий мост, который весеннее половодье смывало едва ли не каждый год. Ванька уже было перешел на закурную сторону, когда чья-то рука легла ему на плечо:

– А ну-ка, хромой, давай потолокuem.

Трое молодых парней. Одеты небедно, на лицах –никогого дружелюбия.

– Ты вроде как Бога за бороду поймал, убогий? – хмыкнул один из них. – Загордился, шапка не по чину. А что это у тебя за пазухой топорщится?

Он уже протянул руку, намереваясь оставить Ваньку простоволосым, но мальчишка мгновенно отскочил спиной к перилам и выхватил из-за голенища нож. Этим оружием его снабдил отец Аввакум – в Курске так было принято. Шапку было жаль, но пуще того он боялся подвести настоятеля. Мало ли что было в доверенном кошеле.

Парни, поначалу растерявшись, скоро потянулись к своим засапожникам:

– А вот сейчас глянем, какой ты вояка без лука.

Но тут подоспела помощь. Тяжелая нагайка во всю мочь опустилаcь на руку одного из парней – нож отлетел в мутную воду Кура. Двое других, увидев, с кем имеют дело, пустились наутек.

Это был тот самый казачий полусотник, который пулей срезал хвостик у яблока – Сунбул Анофриев.

– А ты востер, Яблочко, – рассмеялся он. Потом нагнулся с седла и хлопнул мальчишку по плечу. – Так и надо – в обиду себя не давай.

Запахавшись, подбежал монах–привратник от Гергиевского храма с бердышом* в руках:

– А я гляжу, наших бьют...

На другой день дорожки монастырского трудника и казачьего сотника пересеклись снова. В этот раз – на рыночной площади:

– Ты, я слышал, охотник знатный, Яблочко? Не желаешь ли на медведя со мной сходить?

На этот раз Ванька разглядел полусотника подробно. В лице было что-то нерусское – косоватый разлет черных бровей над темными глазами, тонкий с небольшой горбинкой нос. Говорили, что дед Сунбула взял в жены пленную татарку, предварительно ее окрестив. Отсюда родовое прозвище полусотника

* Бердыш – стрелецкий топор, разновидность алебарды.

– Болдырь.* На коне он сидел, как влитой, чувствовалось, что в седле ему привычнее, чем на собственных ногах.

– Или ты на уток только горазд?

– На медведя зимой нужно, – возразил Ванька. – Из берлоги его поднимать.

– А то я не знаю, – хмыкнул полусотник, – Только нынче случай особый. Так пойдешь?

– Пойду, дело знакомое. Коли рогатину дашь.

Сотник засмеялся, очевидно, представив тщедушного парнишку с грозным тяжелым оружием:

– Лук твой только надобен да глаз верный.

На следующее утро, чуть свет, в монастырские ворота настойчиво постучали. Ванька уже был занят работой, а потому долго ждать не заставил.

– Кроме лука да стрел ничего с собой не бери, – велел Сунбул. – Мы все припасли.

Десяток конных казаков, снаряженных, как в поход, с любопытством разглядывали нового товарища. Ваньке подвели невысокого рыжего коня:

– Верхами привычен ли, малец? – спросил с ухмылкой здоровенный казак с тяжелой двуствольной пищалью за плечами. – Задницу не сотрешь?

Это был тот самый, что в первый курский день ожег Ваньку нагайкой.

– Ты, Аким, за свою задницу беспокойся, – осадил его Сунбул. – Со вчерашней махмары едва в стремя подал. Урядник, так тебя...

– Так ведь, Сунбул Тимофеич, и на добра коня спотычка живет...

Ванька, преодолевая боль в ноге, легко вскочил в седло. Казаки одобрительно зашумели:

– Вот тебе и хромой... Саблю ему!

– А чего же шапку стрелецкую не надел? – спросил Сунбул.

– На охоте больно приметная.

Через шаткий мост переехали на левый берег Тускари. Остановились около Николаевской церкви,** скинули шапки, не сходя с коней, перекрестились на маковки с выбеленными дождями и солнцем деревянными крестами. Потом двинулись дальше – через Стрелецкую.

Здесь казаков не жаловали, особенно ребятишки. Это повелось с обычая на Святки и Масленицу устраивать кулачные бои, где каждая слобода выставляла своих бойцов. Потом взрослые снова окунались в каждодневные заботы, а того более, в воинское служение – им было не до игры в войну. А молодежь, не натешившись зимой, продолжала кулачные забавы круглый год.

Несколько озорных мальчишек крутилось пред казачьими конями. Они дразнили всадников не сейчас придуманными немудреными прибаутками:

* Болдырь – помесь волка и собаки, татарки и русского.

** «Остановились около Николаевской церкви...» – имеется в виду еще один храм, посвященный тому же святому, что и храм «на торгу». Если такую церковь ставили возле реки, ее именовали «Никола-мокрый».

Вы чье, казачье?
 Вы куда едетё,
 На конях сидитё...

На коне молодец,
 Без коня – огурец...

Казак ехал через мост,
 Отвалился конский хвост...

Казачи пробовали в полруки достать мальчишек нагайками, но это было непросто. У стрельцов с измальства воспитывалось убеждение, что конный совсем не лучше пешего, и бояться его не нужно – пусть он тебя боится.

Но вот самому отчаянному досталось-таки пониже спины, он, почесываясь, скрылся в калитке и оттуда сразу же вывалился дюжий стрелец. В исподнем, но при форменной шапке, косматая борода угрожающе топорщилась, в руках – начищенный до ярого блеска бердыш.

– Ты чего это самовольничаешь в чужой слободе, Сунбул Анофриев? А то не гляну, что ты полусотник! И Акишку-Мордобоя, что у тебя за спиной скалится, не убоюсь.

– Так я ж только для науки и пользы, – оправдывался казак. – Вперед твой парнишка ловчее будет. Пригодится.

Стрелец почесал в затылке и согласился:

– И то...

Отвесил мальчишке, что жался у него за спиной, подзатыльник:

– Не позорь стрелецкую хватку, – и скрылся в калитке.

Потом внимание казаков переключилось на молодую, стройную девку, что шла навстречу от колодца, покачивая на плечах коромысло с полными ведрами. Сунбул конем перегородил ей дорогу:

– К удаче с полными – то. А коль поцелуешь, красавица, то и к счастью.

– Посватайся, а там поглядим, – звонко рассмеялась девушка. Добавила нараспев:

Казачи хваткие,
 Женихи сладкие,
 Одна беда –
 Коротки года...

Но и молодой полусотник в долгу не остался:

Стрельцовы женки худы да звонки,
 Ноги кривеньки, сами хиленьки...
 В огороде их растили,
 Плохо поливали...

Потом Сунбул, нагнувшись с седла, слегка шлепнул плетью по ведру. Вода невзначай плеснулась в лицо девке, она еще пуще засмеялась и ответила:

Коли хочешь меня в жены,
Возражать не стану.
Засылай сватов –
Нынче, не потом

С водой получилась незадача. Так делали неженатые парни, когда хотели подать знак молодой девке об особом к ней расположении.

– Теперь жениться надо, – засмеялись казаки. – А то батька ейный жалобу князю подаст. И станешь ты стрелецким зятем.

– Это чья ж такая? – спросил Сунбул, выворачивая голову вслед удалявшейся девушке. – Или взаправду жениться...

Казаки дружно засмеялись, кто-то гаркнул во всю глотку:

Лучше служба без продыху,
Чем жениться на стрельчихе.
В доме было тихо,
А теперь все лихо

– Ты эти разговоры брось, Тимофеич, – пробасил урядник Аким. – Или мы тебе казачьих кровей девку не сыщем? Опять же, рано тебе, молод еще – погуляй.

– А того пуще – горячий, – добавил кто-то сзади. – Голову жене враз отсечешь, ежели что не так.

– Ага, – засмеялся урядник, – у тебя это ловко получается. Как давеча татарину.

– Да что же я, нехристь какой-то? – обиделся сотник – Жену бей, да меру разумей.

...Дорога пошла лесом среди огромных сосен. Рыжие белки то и дело мелькали в развесистых ветках, звонко барабанил невидимый дятел.

Досужие разговоры смолкли.

– По сторонам гляди, – приказал Сунбул. – И не зевай.

Но казаки и без команды знали, что им делать. Двое поскакали вперед для дозора, остальные, свернув с дороги, двигались вдоль нее по многолетней хвойной подушке, не оставлявшей следов.

«Это что за косолапый такой, что следы различает?» – подумал Ванька. «Да и не надо ему этого. Давно уже нас учуял и в чашу подался».

Так проехали верст десять.

– А белку стрелой собьешь? – негромко спросил у мальчишки молодой,

еще безусый, казак. – Чтобы в голову – шкурку не повредить?

– Дело нехитрое, – солидно ответил Ванька.

– Ой ли? А ну, покажи себя. Вона, в ветках.

– Чего зря животинку терзать? Мы же не белковать сюда.

– Цыц вы оба, – пригрозил плеткой полусотник и добавил, обращаясь к собеседнику Ваньки: – А у тебя, Федька, разума-то куда помене, чем у мальчика.

Прискакал один из дозорных:

– Следы на распутье. Конных два десятка. Лошади вперемешку – татарские и русские. Пеших много. Эти босые, видать – полон. Совсем недавно прошли в полуденную сторону.

– Вечер скоро, они дуванить станут, а тут и мы, как снег на голову, – предложил Аким. – Что скажешь, Тимофеич?

– У нас дело другое, – отмахнулся Сунбул. – За двумя зайцами погонишься...

А эти не уйдут.

Миновали распутье и версты через две свернули в лес. Уже смеркалось, когда впереди сквозь прибрежные заросли забелела лента реки.

Полусотник подозвал Ваньку к себе:

– Езжай за мной и не шуми.

Стараясь не показываться на открытом пространстве, приблизились к реке, оставили лошадей поодаль и уже пешком подошли к воде почти вплотную.

Сунбул раздвинул ветки кустов:

– Видишь остров посредине реки? Здесь Сейм на два рукава распадается, а потом снова сходится. Отсюда рукав узкий, а с другой стороны – широкий.

В этом месте Сейм изгибался так, что заходящее солнце светило в спину Ваньке и его старшему товарищу. Посредине острова, как на ладони, была видна рыбацкая хата, окруженная тыном. Рядом с ней на бревенчатой вышке маячил человек.

– Разбойничье гнездо, – пояснил Сунбул. – Их там душ тридцать. Своих же, русских, по деревням ловят и татарам продают. С этого берега вброд не перейдешь и вплавь тяжело – течение сильное. Зато с Крымского берега удобно. Наши сейчас выше по реке поднимутся, на ту сторону переберутся и к полуночи около этого самого брода засядут. Дальше дело нехитрое... Только вот одна заковыка имеется. Дозорный у них глазастый – днем, как сокол зрит, а ночью – как сова. У него брат такой же прозор,* вперемешку с ним бдят. Снять его отсюда из пищали немудрено, только шуму много – уйдут или оцетинятся огненным боем. Стрелять умеют, наших много потеряем. Стало быть, твое дело, Яблочко, достать его тихо – из лука. Сможешь?

Ванька стал вытягивать лук из чехла, но сотник остановил его:

– Не сейчас. Ночью, когда луна взойдет – полнолуние нынче. С того берега волчий вой услышишь – стреляй. А пока сиди, как мышь.

– А медведя потом брать будем? – спросил Ванька.

* Прозор – человек с острым зрением.

– Востер ты, Яблочко, – беззвучно рассмеялся Сунбул. – Только атамана ихнего как раз Медведем кличут. Ну ладно, мне своих догонять. Лошадку твою с собой заберу, чтобы не шумнула ненароком.

Ванька остался один. Солнце зашло, оставив после себя красивую звезду. С другой стороны небосвода разгоралось зарево, предвещающая восход Луны. А вот и она – огромная и яркая.

В темноте он видел, как днем. Опаски, что промахнется, не было. Лук не подвел бы – такое в Ванькиной охотничьей жизни уже случалось. Всего один раз, но этого хватило по самое горло. В той охоте на медведя подвела тетива. Вместе с отцом нашли подмеченную еще с осени берлогу – из едва заметной отдушины несло звериным дыхом. Ваньке пришлось долго тревожить косолапого длинным шестом. Старый, матерый медведь не хотел просыпаться, грозно ворчал, отбивался лапой. Но вот он с возмущенным ревом вылез. Некоторое время озирался, не сразу привыкнув к дневному свету. Потом разглядел обидчиков.

Заранее утоптав снег вокруг себя, отец с массивной рогатиной расположился совсем рядом с берлогой. Нижний конец тяжелого оружия надежно уперт в промерзшую землю. Сейчас медведь, гонимый злобой, метнется к тому из людей, что крупнее, и сам насадит себя на массивное копьё. Тогда настанет Ванькин черед – стрела должна войти в глаз зверя, завершив дело.

Но на этот раз вышло по-другому. Медведь рванулся в сторону мальчишки – как ни старался отец привлечь внимание косолапого. Оно бы и ничего, да вот только тетива лопнула в самый неподходящий момент, осушив правую руку стрелка по самое плечо.

Когда Ванька пришел в себя, он долго не мог сообразить, что произошло. Медведь с рогатиной в горле, под ним отец в изодранном в клочья полушубке. Кровь обоих единым темным пятном еще дымилась, запекаясь на морозе.

Жизнь уходила из отца, но сквозь кровавый хрип он еще успел прошептать:

– Не горюй, Ваньша... Держись... Теперь ты в семье старший...

Такое не забудешь...

Преодолев желание сменить тетиву на новую (перед охотой – плохая примета) Ванька еще раз смазал ту, что была натянута, припасенным куском воска. Хотя бы не скрипнула.

Стал вспоминать отца и все то, чему он учил по лучной стрельбе. Тетивы, они для каждого раза свои требуются. К примеру, зимой, в мороз – шелковая, если погода сырая – из кишечной струны, если солнышко припекает – кожаная. Однако ж, какую хочешь выбери, ан согрей ее за пазухой, а того лучше – в портах – потом уж на лук натягивай. Иные тетивы под шапкой нужно хранить, а другие того пуще – во рту подержать и пожевать зубами несильно. Опять же заговор есть древний «на тетиву», его читать всякий раз нужно, когда лук к охоте или к бою снаряжаешь. Так же и стрелы одна другой – рознь. Иная в стужу гибкость теряет, и тогда целить нужно левее...

Волчий вой, тоскливый и протяжный пришел с той стороны и прогнал из головы невзначай пробравшуюся туда дрему. Но это был настоящий волк – Ваньку трудно было обмануть.

«Старший в семье...» А где эта семья-то? Мамку с младшей сестрой пару лет назад татары в полон угнали. Вернулись с отцом с охоты, а деревня пустая. Тех же, кто для полона негод оказался, вырубил без жалости.

А вот это человек голос подает! Значит, Сунбул со своими уже готов перейти протоку вброд.

Дозорный на острове настороженно всматривался в Ванькину сторону. Луна стояла у него за спиной, но это не должно было помешать...

Ванька перекрестился, потом одними губами прошептал короткий дедов заговор. Тетива бесшумно поддалась умелой руке, стрела, готовая исполнить волю своего хозяина, наполнилась холодной злой силой. Вот оперение ласково коснулось щеки и два намозоленных тетивой пальца распрямились. Стрела, обретя недолгую свободу, коротко свистнула, завершив полет в глазу дозорного. Он даже не вскрикнул – повис на перилах вышки. Ночная тишина продолжалась.

«Это тебе за мамку с сестренкой, – подумалось Ваньке. – А скоро и остальным по грехам воздастся!»

Ждать пришлось недолго – изба на острове вдруг вспыхнула, как факел, высветив окруживших ее казаков. Внутри суматошно кричали, старались выбить подпертую снаружи дверь. Кому-то удалось выскочить наружу – под казачьи сабли...

Сунбул с остальными перебрались через ближнюю к Ваньке протоку вплавь – с конями. Еще не выбравшись на берег, сотник закричал:

– Ай, молодца, Яблочко, знатно угостил супостата. Не дай Бог на твоём пути попасться...

Уже не таясь, развели большой костер и стали сушиться, не забыв при этом выставить дозор.

На Ванькин вопрос, все ли целы, – Аким со смехом ответил:

– Федька рану тяжкую принял. Синяк у него на полморды – атаман ихний прикладом угостил.

Поодаль кинули мешок с тяжким грузом.

– Это чтобы другим неповадно было. Головы разбойные на стене городской выставим, а потом собакам на прокорм.

– На холодец разбойному богу, – добавил Аким. – Там и твой со стрелой в глазу...

Голод утоляли ломтями все еще пахучего хлеба и кусками вареного мяса. Не забыли и Ваньку. Нехитрую снедь запивали водкой из обширных фляг.

– Разговейся, Ваньша, – предложил урядник, протягивая мальчишке свою. – Глоток один, чтобы струна в нутре ослабла.

– Сильно-то зенки не заливайте, – прикрикнул на товарищей сотник. – Всех касаемо. А Ваньку по малолетству и того пуще.

– И то правда, – согласился Аким. – Коли с нами повелся, успеешь еще нахлебаться. Давай лучше вздремнем. Мы, когда по этому берегу к дальнему броду шли, высмотрели, где татары дуванить остановились. С ними полон немалый. Чуть свет сикир-башка гостям незванным учинять будем.

Ванька пристроился спать под развесистой елкой, свернувшись калачиком на сухой мягкой хвое. Ночевать в лесу ему было не впервой. Сквозь сон он почувствовал, как кто-то из казаков заботливо укрыл его попоной.

Проснулся, едва небо на востоке посветлело. Казаки уже поили лошадей. Еще сквозь сон услышал голос Сунбула:

– Яблочка будите, в седле подремлет.

Ванька выбрался из-под елки, начал разминать больную ногу.

– А хочешь, паря, «крестника» своего поглядеть? – предложил Аким, кивнув в сторону мешка.

Желания разглядывать отрубленную голову не было, но содержимое мрачного мешка уже вытряхнули наружу, кто-то носком сапога откатил самую кудлатую в сторону Ваньки.

Отломанная стрела торчала из левого глаза. Умер мгновенно – на лице разбойника так и осталось выражение удивления.

– Мне бы железко вытащить, – попросил Ванька, но ему не разрешили:

– Князю покажем, потом вытаскивай. А стрел у тебя теперь вдоволь будет...

По незаметной лесной тропинке двинулись на восток.

Глава 5

«НЕ СКОР ГОСПОДЬ, ДА МЕТОК...»

Степняков было человек тридцать. Одни уже седлали коней, пристраивали переметные мешки с добычей, другие только продирали глаза после сна. Поодаль кучкой сидел русский полон. Слышен был детский и девичий плач, чьи-то негромкие причитания...

– В самый раз поспели, – шепнул Сунбул на ухо Ваньке. – Спящих рубить не с руки. Опять же, они своему богу уже помолиться успели. Хоть и нехристи, а тоже люди...

Из-за густых кустов татарский лагерь был виден, как на ладони. Их уже никто не охранял – дозорных убрали ножами без единого звука. Сейчас казаки пойдут лавой с открытой стороны поляны, татары метнутся в лес, но там их тоже будут ждать.

– А ты, Яблочко, заберись на дерево, устройся половчее и стреляй по своей воле. С Богом...

Полусотник, таясь между кустами, неслышно исчез. Скоро казаки пошли в дело, наполнив поляну топотом конских копыт и отборным матом. Татары, кто

успел, вскочили в седла и поодиночке рванулись в лес, сбрасывая на ходу мешки с награбленным добром. С ними разберутся другие, Ванькино дело было высматривать других, кто не успел уйти и решил воспользоваться луком. Эти были самые опасные – терять им нечего, будут отстреливаться до последнего.

Ванька успел выпустить пять-шесть стрел, выхватывая из колчана одну за одной. Пригодились навыки утиной охоты, когда жалко было упускать поднявшуюся с воды стаю. А тут и казаки приспели – началась короткая рубка.

В сечевой суете стрелять было непросто, но и здесь Ванька помог своим. Здоровенный, голый по пояс татарин, увернувшись от сабли неопытного Федьки, вскочил на круп его коня и уже занес кривой нож, чтобы полосонуть парня по горлу. Ванькина стрела пришла в самый раз, помешав степняку завершить задуманное. Он упал с коня в высокую траву, увлекая за собой русского парня...

С пленными татарами поначалу решили не возиться, но Сунбул велел связать их и вести в Курск.

– Они с нашими казаками да стрельцами не сильно возьются, как в полон возьмут, – ворчал Аким. – Еще и поиздеваются перед смертью.

Спор прервал Ванька, заметивший в ветвях развесистого дуба притаившегося степняка. Кто-то из казаков запустил в него увесистым суком, и татарин кубарем скатился на землю.

Ко всеобщему удивлению он оказался вполне русским, несмотря на татарскую одежду. Вначале пытался выдать себя за селянина, взятого в полон степняками, но тут со стороны настоящего русского полона раздались возмущенные голоса:

– Да он хуже любого татарина. Нам его отдайте...

– Собаке – собачья смерть,

– Надо бы вздернуть его, да осины рядом нету, а ино дерево поганить не хочется, – подытожил полусотник и подал знак Аким, проведя большим пальцем поперек горла. – Твоя очередь

– Ежели молитву православную знаешь, молись, – велел казак, вытаскивая из ножен саблю.

Пленный русских молитв не знал.

– Тогда по-татарски молись.

Но и татарские молитвы были тому неведомы.

– Никакому Богу ты не нужен, – подытожил Аким и взмахнул саблей.

– Не скор Господь, да меток, – добавил он, обтирая оружие пучком травы.

Занялись полонем. Их было человек пятьдесят, в основном молодые бабы, девки и ребятишки. Убедившись, что попали в руки служилых казаков, а не к другой разбойничьей ватаге, они подняли истошный крик и плач, выпуская наружу весь ужас последних дней.

Казаки повытаскивали весь запас съестного, стали потчевать освобожденных. Из переметных татарских мешков вывалили все содержимое в надежде найти какую-то одежду:

– Ночью нагрянули татарове, – оправдывалась молодка с распущенными

рыжими волосами в изодранной рубахе. – В чем были, в том и похватали, узы* наложили...

Поодаль от прочих стояла тоненькая девчушка. Она тоже нуждалась в одежде, но не решалась участвовать в общей суете.

– А ты чего робеешь? – спросил ее Ванька.

Девчушку бил озноб – было от чего. Ванька снял армяк и набросил его на худенькие плечи. Вспомнилась младшая сестренка – тоже, небось, бедует на чужбине...

– Ты хват, Яблочко, – рассмеялся Сунбул. – Уже и зазнобу приглядел. Настя–Настенька, шубейка красненька, сама черноброва, опушка боброва...

– А ты, дядька, как узнал, что меня Настей зовут? – спросила девчушка, все еще дрожа. Полусотник ответить не успел – рыжеволосая молодуха схватила его за рукав:

– Нам-то теперь как быть? По хатам разбежаться?

Тот отрицательно мотнул головой:

– Снова сцапают татары. С нами пойдете, в Курск, а там глянем. В родной земле и побираться слаще, чем в чужой царицей сидеть...

Суть да дело – солнышко уже добралось до полдня. Хотели двинуться обратной дорогой не мешкая, но оказалось, что у многих из русского полона сильно стертые ноги. Иных просто покинули силы, они сидели, прислонившись спиной к деревьям, или лежали в тенике на травке, не в силах что-либо предпринять.

– Всякий раз так, – посетовал полусотник. – Пусть душами охолонут, а утром двинемся. Только с сакмы** этой уйти нужно.

– Им бы сейчас водки, – вздохнул Авдей. – Да поболе. А мы-то свою уже прикончили.

– Тогда собери пустые фляги и пошли кого из казачков в деревеньку лесную, что ближе к Курску. Да ты знаешь, там винцо делают справное. Чтобы к вечеру привезли.

Полусотник продолжил, обращаясь уже к Ваньке:

– А ты, Яблочко, спроворь охоту на сохатого – здесь должны быть. Полон накормить нужно.

Ванька уже знал, куда ему двигаться. Опытный глаз охотника совсем неподалеку приметил поверх кустов развесистые рога. Если не ушел сохатый в чашу от шума да крика человеческого, то много времени охота не займет.

Так и получилось – через час двое казаков, приданные ему в помощь, разделявали тушу сохатого на куски. А скоро мясо уже поджаривалось на шомполах.

– Шустер ты больно, Ваньша, – посетовал Аким. – Молодцы с вином не в раз еще обернутся, а мы закуску к тому времени всю изведем. Не пришлось бы

* Узы – веревки, узлы.

** Сакма – военная дорога татар.

тебе еще раз по сохатого сходить.

– И схожу, – согласился мальчишка. – На случай еще одного приметил.

– С ним с голоду не помрешь, – поддакнул один из казачков, что помогали в лесу. – Дело охотское знатно ведает.

– Ежели вам волю дать, – хмыкнул Сунбул, – вы бы с этой поляны до зимы не отъезжали. Водку привезут, опять же бабы справные под боком.

– Так-то оно так, Тимофеевич, – засмеялся Аким, – да вот работы домашней много. Скоро пора приспееет рожь жать*, сыну новый домишко под крышу подвести, рыбалку с казачками задумали на дальних озерах. Да мало ли дел у справного хозяина.

– Вот и женись тут, – хмыкнул полусотник. – Корова, коза, огород...

– Спешить тебе не к чему, только и тянуть с этим не стоит. Еще в крестные меня позовешь. Потом и в дела хозяйские втянешься. Вот, к примеру, охотник у нас знатный объявился. Неужто не поможет на охоте? А, Ваньша?

– Чего не помочь-то, – кивнул Ванька, ловко управляясь с лосиной печенкой.

– Только и ты мне подсоби монастырь прибирать.

Казачки дружно захохотали:

– Ему метла особая нужна – из оглобли. С такой, глядишь, и в настоятели пробьется.

– Не-е... Не пробьется. Он во хмелю дюже буйный. Той метлой весь монастырь разгонит. Как зимось** на Маслену стрельцов гонял. Слава Богу, не угробил никого.

– Ладно болтать-то, – прикрикнул Сунбул. – Живо собраться, руки в ноги и верст на пять отойдем. В лесу недалече низина просторная, со стороны незаметная. Там ночевать будем...

По дороге до места предстоящей ночевки у Ваньки в голове крутилась поговорка, которой урядник заключил казнь предателя: «Не скор Господь, да меток...» Стало быть, как ты ни крутись, а ежели злодейство за тобой числится, все равно рано или поздно придет такой вот Аким со своей саблей, и тогда уж молиться поздно будет – что по-татарски, что по-русски. Однако не видать как-то, чтобы татары сильно опасались такой судьбы. Грабят себе уже не первый век, народ в рабство сгоняют, и нет на них никакого укорота.

Ванька начал подсчитывать в уме, сколько непрошенных гостей он заставил сегодня пожалеть, хотя бы за секунду до смерти, что пришли в русскую землю. Получалось много. Мальчишка даже перекрестился украдкой. Ведь у каждого из павших от его руки были матери, сестры, дети. Но ведь сколько народу такой степняк уже не уведет в полон: мамок, сестер, детишек малых. Целое русское село наберется...

Первый раз Ванька убил человека на другой день после того, как татары выбрали половину его деревеньки, а остальных вырезали. Они с отцом метнулись

* «...пора приспееет рожь жать» – стрельцам, казакам и прочим служилым людям разрешалось заниматься ремеслами, сельским хозяйством и торговлей.

** Зимось – прошлой зимой.

по следам и нашли бы, но к вечеру хлынул проливной дождь и смысл все, что могло бы подсказать путь. Решили просто двигаться на полдень, может Господь и выведет на тех самых степняков.

Вывел под вечер следующего дня.

Дюжина татар пережидала непогоду в неглубоком овраге возле костерка, неподалеку от них человек двадцать русского полона. Здесь-то Ванька и увидел, как легко лишает жизни человека небольшой кусочек железа на тонком древке.

Отец стрелял без промаха и выцеливал так, чтобы сразу – без криков и стонов. Татары даже не поняли, что несут серьезные потери, пока их не убило наполовину. Когда опомнились, схватили луки и разбежались от огня во мрак.

Пришлось стрелять Ваньке, тем более что в темноте он видел лучше отца. А иначе полону не поможешь. Разворошить змеиное гнездо – дело не хитрое, а толку-то что?

Убивать людей самому было куда страшнее, чем смотреть. На медведя в одиночку – проще. Впрочем, Ванька по малолетству, даже когда зайца подстрелил первый раз, долго втихомолку плакал на печке. Дед Кузьма часто говорил: «Зверя без нужды убить – и то грех, а уж человека...» Потом каждый раз истово молился, бил поклоны перед иконами.

Но тут был другой случай. Помогала мысль, что вот сейчас помогут мамке с сестрой, отвезут их домой, накормят, напоят.

– В глаз или в горло, – напутствовал отец. – И не мешкай.

Первая стрела досталась толстому татарину, который, похоже, видел в ночи не хуже Ваньки. Его лук уже был натянут, он знал, куда стрелять, и целился без лишней спешки.

И тут мальчишка собственным телом почувствовал, как железо рвет чужое горло, перекрывает дыхание, как кровь хлещет куда-то вовнутрь, а потом фонтаном вырывается через чужой рот.

Он продолжал стрелять, и, наверное, не промахивался, но так и не смог отделаться от этого страшного ощущения.

Пришел в себя, когда отец тряс его за плечи, повторяя:

– Все, Ванюша, все...

Подал голос притихший было полон. Они поняли, что происходит. Кто-то плакал и причитал с новой силой, кто-то просил, чтобы его быстрее развязали. Отец перерезал веревки на руках одного мужика и дал ему нож, а уж он освободил остальных.

Ни мамки, ни сестры там не было.

Мужики из освобожденного полона переловили татарских лошадей, собрали все, что могло пригодиться, и прямо ночью увели остальных в обратную сторону.

Ванька с отцом плутали по степи еще долго, но своих так и не нашли.

– Ну хоть других от беды защитили да кровушки вражьей пролили вдоволь, – успокаивал себя отец, когда вернулись домой. Он все чаще прикладывался к бутылке с брагой. А потом наступила зима и случилась та неудачная охота на медведя...

Глава 6
«ДАВНО ЭТО БЫЛО...»

Аким устало опустиллся возле костра, хлебнул из фляги, проворчал устало:

– Дозоры проверить не забыть. Слышь, Федька, сгоняй покуда не спишь.

Вечерняя заря догорала, предвещая на завтра хорошую погоду. Одинокaя звезда на закате снова засияла раньше других.

Казачьи костры на дне неглубокого просторного распадка бережно окружили бывший полон. Те уже спали: кто на лошадиных попонах, кто, подстелив свежей травки. В первый раз за много дней они не боялись окружающего мира. Бог помог им, послав навстречу этих грубоватых бородачей. Спала и худенькая девчушка, завернувшись в Ванькин армяк...

– Господь казачкам один грех отпустит за души спасенные, – вздохнул Аким. – Только осталось много еще грехов-то, дюжины жизней не хватит, чтобы отмолить.

– Не кручинься, казак, – усмехнулся сквозь дрему Сунбул. – Порубежники у Господа на особом счету. У него там писаря сидят и строгий учет нашим делам ведут. Они все видят, а уж тебя трудно не приметить.

– Особливо, как он нынче мурзу татарского до седла саблей развалил, – хмыкнул Федька.

– Или как Ванька тебя от смерти спас, – добавил Сунбул, и, помолчав, продолжил: – Вот у нас в Орле случай был ...

Но сон совсем уж сморил парня, он замолчал и скоро уже посапывал, по-детски подложив ладони под голову.

Аким снова приложился к фляге, крякнул, закусил ломтем мяса и повернулся к Ваньке – только его сон еще не одолел:

– Вишь, как хитро получается. Всяк из нас в других краях родился: Сунбул – в Орле, я – в Туле, батька Федькин – под Москвой где-то... Курян-то исконных среди нас, считай, что и нет вовсе. Вот дети наши да внучата – те уж курянами себя величать станут, про дедову родину забудут, небось. А ведь жили здесь люди и до нас, и Курск на холме стоял...

Человеческие голоса на поляне смолкали. Костры гасли, но невидимые угли еще потрескивали, время от времени разбрасывая искры в темноту ночи. Стали слышны ночные птицы и фыркaнье стреноженных лошадей.

– Вот слушай, паря, я тебе байку поведаю, – продолжил казак. – Отец Аввакум как-то сказывал. Он как раз из здешних. Вот слушай...

Аким тщетно потряс флягу и, убедившись, что в ней не булькает, начал:

– Не вчера это было, и не летось – дюже давно. Город Курск в ту пору, не как в нынешние времена, вольно жил и врагов не сильно опасался. Про татар тогда и слыхом не слыхивали. Ан, в полуденную сторону, до самого моря, племя кочевое обитало, имя которому давно уже былъем поросло. Тогдашние степняки

города брать не умели, но и без того вреда от них было вдоволь. Деревенку до последнего мальчика выберут и в полон сведут. Как крымцы ныне. Князья русские с ними воевать не раз хаживали, да, поди, сыщи их в степи широкой.

В Курске тогда правил молодой князь, который по всей Руси знаменит был удалью воинской. Как в ярость боевую войдет, ран не чует, и ничем его не остановишь. А того пуще князь славился умом, справедливостью и приветливым характером. Перед простым человеком не кичился.

Был у курского князя старший брат, не в пример младшему – задиристый да заносчивый. Оно и в сказках, и в жизни – старший разумнее младшего. А тут – наоборот. Все он славы искал на полях ратных. Да, оно бы и ладно, только жесток был братец не в меру, ни малого, ни старого в междоусобьях не щадил и кары Божьей не боялся. Как-то велел он людей из городка, что на копье взял, истребить до последнего младня. Всех вырезали ни за что, ни про что – даже собак ради потехи из луков перестреляли. Один мальчонка остался, в колодце прятался. Только сыскали его, приводят пред княжьи очи, тот мальчика вопрошает: «Как ты посмел моей воле перечить и от смерти неминучей, что мне верно служит, скрываться?»

Малец без страха смотрит и ответ держит: «Не смерть тебе служит, княже, а ты у нее в холопах ходишь».

Потащили мальчика на казнь, да успел он напроорочить: «Будет за лютость награда от Бога – сыновья позорной смертью умрут, имя отцовское осрамят навеки. А тебе и на том свете покоя не дадут, через тысячу лет кости перемывать станут, не забудут грехи тяжкие...»

В те времена стольным городом на Руси был Киев. Нынче его не видно и не слышно, а встарь краше и сильнее его на Руси не видывали. Князь киевский издревле почитался как старший над остальными князьями. Только не все его старшинство признавали, иные норовили своим умом да своим войском дела решать. Это сейчас государь московский – всему голова, и перечить ему не смей.

Вот и старший брат стал вокруг себя других князей собирать, чтобы купное войско послать в полуденную сторону супротив степного народа. Задумал – сделал. Рыляне пошли, с Путивля воинские люди, с Трубчевска... Куряне со своим князем в первых рядах, на них вся надежда, потому как славились на всю Русь доблестью крепкой.

Истошный вопль раздался из леса со стороны реки. То ли птица, то ли человек. Аким встревожено вскочил на ноги.

– То выпь кричит, – успокоил его Ванька. – Ежели человек рядом, молчала бы. Спокойно все.

Но казак еще некоторое время недоверчиво вслушивался в ночную тишину:

– Выпь, говоришь...

Потом снова улегся и продолжил рассказ:

– Только когда из Курска выходили, колдун сильный – еще той веры, что до

православной в этих краях была, — предстал пред князем и говорит: «Не ходи, княже, в полуденную сторону. Воинов своих положишь в чужую землю всех до одного. Не след тебе кару старшего брата на себя принимать...»

Не поверил курский князь старику. А и поверил бы, все равно от похода не отказался, потому богатырю смерти бояться — последнее дело. Хотел было жизни колдуна лишить за недоброе слово на ратную дорогу, но передумал.

Вот идут по степи полки русские. В полуденную сторону так далеко никто тогда и не хаживал. Ищут врага, да не видать никого. Только бабы каменные по курганам стоят, да орлы степные под облаками выются.

А тут знаки им Господь подавать стал — то конь княжий в нору звериную ногой провалится, то заяц ему дорогу перебежит, то воронье над войском тучей кружится. Каждую ночь волки поодаль воют, пира кровавого ждут.

Потом камень перепутный поперек дороги встал. Кто его туда закатил, разберись. На нем старыми буквами писано: прямо пойдешь — домой не вернешься, направо — голову потеряешь, налево — стрела вражья тебя достанет. Выходит, куда ни кинь, всюду — клин. Только письма старинные одни князья и ведали, прочитали древние слова и смолчали. Как говорят: влез по горло — лезь и по уши.

А потом и того пуще — солнышко ясное померкло, звезды днем на небе повысыпали. Иному — трын-трава, а другой призадумается.

Стали решать, дальше идти или назад поворачивать. И молвит курский князь: «Нет хуже приметы, чем с полпути возвращаться. Может, не нам тот знак, а супротивникам нашим. Солнышко, оно всем светит».

Крепко помолясь, двинулись русские полки дальше. Опаска-то осталась, но ненадолго: столкнулись со степняками и побили их в битве. Много добра взяли и полон великий. Однако ж князьям другого надобно — славы, а этого негусто показалось.

Идут на полдень, Русь все дальше. Видят, стоит посреди широкой степи дуб раскидистый. А под дубом тот самый колдун (ведун) сильный. На посох тяжкий опирается, сам невесел и на князей глядит сурово. Откуда взялся, никому не ведомо. Только подходит он к курскому князю и молвит: «Не послушал меня, княже, а ты разумом крепче прочих. Быть вашему войску по ветру развеяну не дале как завтра. Сам ты раны примешь от вражьих мечей и три года в плену томиться будешь».

Сказал так ведун, вокруг дуба обошел, и нет его, как вовсе не было. Только ворон черный с ветвей сорвался да в полночную сторону полетел.

Аким прервал рассказ и растолкал похрапывавшего рядом Федьку:

— Я же тебе велел дозоры проверить.

Молодой казак нехотя поднялся, но исполнять приказ не спешил — стал слушать байку.

...Еще поведал князю ведун, что не успеет младенец, рожденный в тот день, стариком стать, как придет с восхода племя неведомое, с коим никто

супротивничать не сможет. Покорят они Русь святую, народа православного погубят без меры, города пожгут. Курск, дескать, триста лет в запустении будет, лесом густым поросший. А потом восстанет через великую святыню на том же месте.

– Я так мыслю, что святыня эта – икона Коренная, – встрял Федька. – Она помогла, не иначе.

...На другой день у речки безымянной нашли русские, что искали. Стоит войско великое, копьями, как лесом ошетинилось, степь пополам перегородило. Веселятся нехристи – не уйти русичам...

– Им бы в подмогу сотню стрельцов наших с пищальми да пушчѣнку завалющенькую, – посетовал Федька.

– Ага, – кивнул Аким. – И тебя, вояку, в придачу. Уж ты бы... Как в прибаутке: наши в поле не робеют и на печи не дрожат. Знаешь, какие люди в старину были? Не нам с тобой чета. А огненного боя тогда слыхом не слыхивали. Вот Ванька-Яблочко им точно пригодился бы. Так слушай дальше.

Как старик-вещун сказывал, так и случилось: никто из курян живым с той битвы не вышел, потому как впереди других бились. Все полегли без христианского погребения. Ни креста, ни могилы, а косточки волки да воронье по степи растащили. Из других городов воины, тоже мало кто домой вернулся.

Князей русских степняки в полон взяли и по разным кочевьям раздали. Курский – едва жив от ран, пуще того – совесть его гложет: положил своих ни за что, ни про что. Рад бы из плена бежать, да раны не дают, а еще слово, что хану степному дал. Сидит, ждет, когда его выкупят.

В Курске, в Путивле, в Рыльске мамки, женки да зазнобы воем воют, плачем плачут по своим сыновьям, мужьям да женихам. Другие Богу молятся, со стен крепостных не сходят, все в полуденную сторону глядят – может, уберег Господь кого. Икона–Заступница помогла бы, только в те времена у курян ее не было еще. Так и не вернулся ни один.

Много лет Курск потом бедовал без крепких рук – ни защитит от ворога, ни хату срубить, ни поле засеять. А как ребяташки подросли да в зрелые лета вошли, другая беда пришла, что колдун предсказал – из дальних степей, из-за гор нехоженных пришли племена числом несчитанные. Кликнули тогда клич по всей Руси, да мало кто отозвался. И опять куряне – в первых рядах, и опять мало кто домой вернулся. Вольному – воля, смелому – поле...

Аким смачно во всю глотку зевнул:

– Хватит уж байки баять – спать пора.

– А что же мальчонка тот, что князю напророчил, не ошибся? – спросил Ванька. – Сбылось?*

– В сказке все сбывается, – буркнул казак, пристраивая седло под голову.

– В другой раз расскажу.

Потом спросил, привстав:

– А дозоры?

Но Федька снова завалился спать.

– Пойди ты глянь, Яблочко. Небось, дрыхнут без задних ног. Татары на выдумку горазды, не доглядишь – перережут, как хорь кур.

Ночь стояла тихая. Чуткое ухо охотника улавливало все шорохи спящего леса, но ничего опасного на версту вокруг не происходило. Он даже послушал землю, приложившись к ней чутким ухом. И все же Ванька не спал до самого рассвета, старательно не давая уснуть дозорным.

Утром по солнышку двинулись в Курск. Тех из полона, что были слабее других, казаки взяли на крупы лошадей, а иным и вовсе уступили седла. Как ни старался Сунбул, следить за дорогой и по сторонам не получалось – казаки всю балагурили с молодыми бабами. В конце концов полусотник махнул рукой:

– Надоело каждого куста беречься – мы в своей земле. А ну, песню давай.

Аким начал, другие поддержали:

Государь своим боярам
Строгий отдавал наказ.
Строгий отдавал наказ,
Город строить тот же час.

На Тускури – на реке,
На высоком на холме.
На высоком на холме,
В порубежной всё земле.

Землю русскую святую
Днем и ночью охранять.
Днем и ночью охранять,
Службу справно исполнять

Государевы бояре
Время не теряли.
Время не теряли,
Войско посылали.

В путь направились казаки –
Удалые забияки.
Удалые забияки,
Все охочие до драки.

* После находки текста «Слова о полку Игореве» вот уже третий век обстоятельства жизни и печально знаменитого похода под началом князя Игоря Святославича (старший брат) обсуждаются в научной среде и чаще всего не в пользу самого Игоря. Судьба «Игоревичей» – сыновей князя – сложилась очень неудачно.

А за ними уж – стрельцы
Государю послужить.
Государю послужить,
Стал быть, нечего тужить.

В славном городе – во Курске
Крепость грозная стоит.
Крепость грозная стоит,
Всем врагам бежать велит...

Глава 7

«НЕДАЛЕЧЕ ОТ КОЗИЦЫНА МОСТА...»

После возвращения с «медвежьей охоты» Ванькина жизнь потекла, как и прежде. Отец Аввакум и отоспаться не дал:

– Хватит прохлаждаться.

Бывших полоняников временно приютили в монастыре – покуда нужны были рабочие руки на обширных огородах, полях и пасаках. Монастырь всех прокормить не мог, к осени хочешь, не хочешь – устраивайся в городе или на стороне. Особый спрос на мужиков-плотников – в Курске строили много (потому как много горело), но лишь в теплое время года...

Кто-то помышлял о возвращении в родные края. Для этого нужно было дожждаться ненастного межсезонья, что случалось ранней весной или поздней осенью, когда татары отсиживались дома. А нынешняя осень по всем приметам дождей не обещала. Опять же, придешь ты домой, а там – ни скотины, ни припасов, с голоду помрешь. Вот и думай тут...

Если повезет, до весны можно пристроиться в услужение к богатому купцу или к другому небедному горожанину. А если нет – будешь перебиваться случайной работой, а то и вовсе побираться на паперти...

В городе не хватало молодых баб и девок. В окрестных деревнях тем более: татары предпочитали «белый товар»* всему прочему. Поэтому, когда в Курск приводили очередную партию отбитых у степняков пленных, поглазеть на них сходились и съезжались многие. На показ никто не выставял, однако вечером, когда народ приходил с работы, монастырская калитка для гостей не закрывалась. Приглядывались, расспрашивали...

Сирота Настя тоже жила в монастыре, возвращаться ей было некуда. Страх перед окружающим миром постепенно стихал, душа девчонки успокаивалась, все чаще был слышен ее звонкий смех. Тем более, что Ванька взял ее под свою

* Татары предпочитали брать в плен молодых женщин и девушек, этот «товар» очень ценился на невольничьих рынках.

опеку и в обиду не давал. Это оказалось несложно. Слухи о его воинских приключениях с легкой руки охочих приврать казаков уже ходили по Курску, обрастая самыми невероятными подробностями. Он и раньше не мог пожаловаться на отношение монастырского начальства, а теперь и подавно. Девчонку пристроили к поварскому делу, в помощь подслеповатой бабке. Ванька даже сплел ей аккуратные лапотки, укрепив подошву кожаны́м ремешком из старого голенища – «с подковыркой». Доброхотов, желающих свести девчонку на свой двор, было вдоволь. Однажды к Ваньке с вопросом подошел дородный купец:

– А что, малец, девица вон та в делах недостойных не замечена? Кухарка мне надобна, потому как жена моя летось преставилась...

Ванька не моргнув рассказал купчине, что «девица вон та» страдает падучей, в припадке надобно ее связывать крепко, потому как и себя, и других, может ножом порезать... В благодарность проситель даже одарил его медяком.

Другому доброхоту мальчишка сообщил, что это его сестра и никаких разговоров до поры не будет. Катись, дескать. Тот побежал жаловаться, настоятеля не нашел и набрел на отца Аввакума. Монах же при всех громогласно поведал ему, что «отрок сей вельми в деле воинском сноровистый, из лука бьет без промаха и попадаться ему под руку не след, потому как сам Сунбул Анофриев за него горой. А тот, ежели что ему не по нраву, церемониться не будет...»

На торге объявили, что Господь своей волей покарал разбойника Медведя, чему немало поспособствовали казаки. Головы из мешка ненадолго переместились на высокие колья, что специально для таких случаев стояли на видном месте. Но на другой день воевода велел убрать по причине целой тучи слетевшейся мухоты.

Через неделю мамка молодого казака Федьки, которого Ванька выручил во время стычки с татарами, пришла в монастырь с благодарностью за спасение сына. При всех низко кланялась мальчишке, приведя его в полное смущение, а кроме того оставила немалый мешок со снедью. Там же оказалась и объемистая бутылка с водкой.

Недолго думая, Ванька отдал угощение бывшим полоняникам. День был не постный, а потому вечером те устроили праздник, тем более что подоспел Петров день.* Выпили, закусили, потом еще выпили. Кто-то всплакнул, вспоминая свое житье-бытье где-нибудь под Орлом, Тулой или Севском. Жили-то небогато, да у себя дома. А теперь как быть?

Настя тоже хлопнула носом, но под Ванькиным взглядом успокоилась.

– Да тебе-то что горевать, – со смехом толкнула девчонку рыжая молодуха.
– Эвон, у тебя защитник какой. Не пропадешь.

Настя покраснелась, как маков цвет, даже в сумерках было видно. Это вдохновило бы насмешников еще пуще, но тут в ворота монастыря, уже закрытые на ночь, кто-то веско постучал. Это был Аким:

* Петров день – 12 июля

– Здорово, Ванька и вся честна компания. А я вовремя поспел, гляжу...

Казак от угощения не отказался, быстро допил водку из бутылки, съел добрую половину гуся и только после этого пояснил причину своего визита:

– Помнишь, Яблочко, про охоту договаривались? Стало быть, завтра по утру и двинем.

– А я думал, что ты подсобить мне пришел. Уже и метлу из оглобли смастерил.

– Это как с охоты приедем, – заверил казак. – А покамест, вон, рыжая за меня потрудится.

Но «рыжая» тоже была не промах:

– А со мной как квитаться будешь? Или тоже за спасибо?

– Или я не за тебя животом рисковал? Нет, чтобы самой казака уважить, опять же вдового, а ты туда же – как квитаться будешь...

– Как в присказке, что ли? За полспасиба мужичек в Москву сбегал да еще четверть спасиба назад принес...

Шутливая перепалка могла продолжаться долго, но тут вмешался подошедший отец Аввакум:

– Хватит уж сумерничать – спать пора. К тому ж Ваньке подниматься затемно.

...Аким стукнул нагайкой в ворота монастыря, когда восточная сторона неба только начала окрашиваться розовым. Ванька уже ждал.

Урядник был снаряжен, как в поход, – при пищали и сабле. Его рослый жеребец потянулся мордой к Ваньке и едва ли не изо рта выхватил мягкими губами кусок хлеба, которым мальчишка наскоро завтракал на ходу.

– Балуй у меня, черт бешеный, – прикрикнул на жеребца Аким, но тут же рассмеялся. – Настоящий конь, казацкий. Что из съестного плохо положишь – в раз сопрет.

Неподалеку зевал в седле здоровенный парень лет восемнадцати.

– Сын мой, – объяснил Аким, – Алешкой его кличут. Осенью женю балбеса.

Парень недовольно покосился на отца, хмыкнул про себя и добавил в сторону:

– Это ежели я до той поры на Дон не сбегу.

– Не хочет жениться, – ухмыльнулся Аким. – Вишь ты, не любя ему невеста.

А чем она хуже других, не пойму.

Переругиваясь вполголоса, отец с сыном двинулись верхами по улицам еще спящего Курска. Ванька в приличном случае отдалении следовал за ними на той же лошадке, что и в прошлый раз.

У Георгиевских ворот Аким бесцеремонно разбудил стражника, и тот, недовольно ворча, выпустил охотников из города.

По Рыльской дороге поднялись верх до сторожи. Ванька подумал, что поедут по тому пути, коим он сам прибыл в Курск, но скоро свернули направо и версты через две углубились в темный лес, куда утреннее солнце почти не пробивалось.

– Следы зрите, – приказал Аким. – Чтобы не нарваться на басурманов. Береженого Бог бережет.

Некоторое время они крутились по лесным тропинкам, а где-то и без них –

искали следы охотчих до живого товара степняков.

– Свежих нет, – подытожил Аким.

– На кого охотиться будем? – спросил Ванька.

– Не на медведя, – усмехнулся урядник. – Лосей здесь видели давеча. В лесу чуть поодаль полянка невеликая, там балаган прошлогодний. Оставим коней и дальше – пехом.

Балаган представлял собой просторный шалаш, в котором без труда могли разместиться человек шесть. Кто-то недавно подновил его: сосновые ветки со свежей еще хвоей обильно покрывали крышу и стены.

Аким знаком остановил попутчиков еще до въезда на поляну. Подозвал Ваньку:

– Видишь кострище возле балагана? Копнуть, так угли не погасли. Недавно огонь разводили. Может быть, они и сейчас там. Что не татары – точно. Они по-другому дуванят.

– А мы сейчас глянем, – сказал Ванька, не слушая возражений казака, спешился и захромал к шалашу.

Люди и в самом деле были здесь если не с вечера, то в ночь: кто-то варил кашу, малость пролил ее возле костра, и вкусное варево, обильно приправленное луком и чесноком, все еще пахло сквозь притоптанную траву. Следов от копыт не видно, лошадей на ночь на поляне не стреноживали. Стало быть, Аким прав – не татары. Да и на литовских людей не похоже. Тогда кто?

Отодвинув ветки, мальчишка хотел было заглянуть вовнутрь, но тут ему в грудь уперся ствол пищали.

– Ты откуда взялся, паря? – густой хрипловатый голос из шалаша не обещал ничего хорошего. – Тебя не звали. Что в лесу-то делаешь?

– Зверем лесным промышляю, – объяснил Ванька незримому в темноте шалаша человеку. – От товарищей отбился.

– А много ли товарищей у тебя? – продолжил басовитый.

– Двое всего. Только они, должно быть, далече уже.

Ванька вспомнил, где он слышал этот голос. Догадка подтвердилась, когда полусохшие ветки, заменявшие дверь, раздвинулись и наружу высунулась кудлатая голова его недавнего попутчика. Это был Гринька–Косолап. Единственный глаз зорко осмотрел поляну, потом щербатый рот растянулся в приветливой улыбке:

– Здорово, Ваньша. Я тебя издали узнал. Да мало ли.

Гринька вышел из балагана, держа наизготовку короткий мушкет со взведенным курком, прислушиваясь к звукам леса и всматриваясь меж стволов, обошел вокруг шалаша. Его левая рука была обмотана тряпичей, сквозь которую проступало темное пятно. На шее болталась берендейка* с зарядами.

Тем временем Ванька успел разглядеть, что в шалаше больше никого нет, а судя по единственной примятой охапке сена, и не было.

Казаки из леса вполне могли подстрелить Гриньку. А чего мудрствовать да разбираться – человек незнакомый, оружный, на охотника не похож, от людей

кроется. По лесам много кудияров** бродит. Одним меньше будет и всего-то.

Ванька решил перекрыть Акиму прицел и расположился между Косолапом и тем местом, где прятались казаки.

– Третьего дня на Крымском берегу от татар едва утек, – объяснил Гринька, показывая раненую руку. – Отлеживаюсь здесь до поры. Ан уходить нужно, крымцы не сегодня-завтра здесь будут.

Потом Гринька рассказал, что видел татарский чамбул,*** который притаился неподалеку от Курска:

– Недалече от Козицына моста, – уточнил он. – Должно, подмоги дожидаются. Я даже разговоры их разобрал. Смеялись нехристи, что сторожи да станицы курские незаметно обошли, и скоро понадобится много веревок – полон вязать.

– Ты вот что, – вполголоса перебил его Ванька, – бери свои пожитки и ходу в лес. Но только виду не подавай. Сейчас за балаган зайдем, и как скажу – тикай.

Гринька сразу все понял и, ни слова не говоря, исполнил, как ему велели.

Ванька вышел из-за шалаша, неторопливо направился к лесу. Не ожидая расспросов, все рассказал Аким. Первым делом – о татарах возле Козицына моста. Что это за мост такой, он не знал, но встревоженный Аким пояснил:

– Рядом совсем, верст пять от города.

Решили так: Ванька скачет с вестью в город, урядник с сыном разведуют, что и как, а потом встретят княжье войско.

– Только ты, парень, до Курска по сторонам поглядывай, разъезды татарские, должно, уже близко, – напутствовал Аким. – А знакомца твоего и я узнал. Кабы не ты, вlepил бы ему пулю промеж глаз...

Ванька добрался до города быстро и без приключений. Весь путь думал о том, кому и как сообщить. Поверят ли? Но возле Георгиевских ворот встретился Сунбул и, узнав в чем дело, сам поскакал в крепость. Ваньке же он велел, не мешкая, сообщить в казачью слободу, чтобы там приготовились и ждали сигнала из крепости. Он даже отдал парню свою нагайку – там признают.

Ванька еще долго метался по городу, как вестовой, и когда наконец добрался до крепости, отряд уже выступил.

– Сам воевода отряд повел, – сообщил стрелец на воротах. – С ним Сунбул Анофриев и сотник Анненков. Как Сунбул весть твою передал, хотели было разведку послать, да тут Аким с сыном прискакали. Они сами татар видели. Тогда в набат ударили. А тебе за ними скакать не велено.

* Берендейка – перевязь с несколькими круглыми деревянными пенальчиками, в каждом из которых хранился заряд пороха на один выстрел для ручной пищали. Берендейка входила в обязательную амуницию стрельцов. Название происходит от подмосковной деревни, где их первоначально мастерили.

** Кудиярами в XV веке называли разбойников – от прозвища легендарного атамана Кудеяра.

*** Чамбул – крупный отряд крымских татар.

К вечеру отряд с воеводой во главе вернулся в Курск. Татар порубали, дюжину взяли живьем, отбили большой русский полон.*

– Алешку моего ранило, – сетовал Аким. – Тягеляи и шлемы мы с ним не надели в спешке, вот и получилось. Да ничего – заживет.

– Наш Сунбул опять себя показал, – продолжил Аким. – Ихнему мурзе голову в рубке отсек, как кочан капусты. После этого татарове заскучили и наутек кинулись. Только от Ивана Анненкова не уйдешь...

Позади отряда двигались телеги с убитыми и ранеными. Их уже обступили жены и матери, слышался их плач и причитания. Там же, наклонившись с седла, Сунбул разговаривал с кем-то из раненых, потом успокаивал кого-то из женщин. Приглядевшись, Ванька понял, что эта та самая девушка, с которой полусотник пересмеивался в Стрелецкой слободе, когда они ехали охотиться на Медведя. Вот ее под руки увели родственники.

Сунбул заметил на обочине Ваньку и Акима, повернул коня к ним.

– Война, будь она неладна, – вздохнул он, поправляя повязку на голове. Сквозь тряпицу проступала кровь, стало быть, тоже шлем надеть времени не нашел. – Батьку у нее убило. Теперь сирота девка.

Мимо прогарцевал воевода. Тягеляй, расшитый золотом, на боку был распорот, проглядывали кольчужные вставки. Князь подозвал Сунбула и на ходу начал отдавать какие-то указания.

– Поохотились мы с тобой, Ваньша, – вздохнул Аким. – Ан ничего. Хоть морды в крови, да наша взяла...

Глава 8

ЗАСТАВА В СТЕПИ

Сунбул Анофриев приехал в Божедомский монастырь под вечер. Не церемонясь, прямо верхом протиснулся в неширокую калитку и, пригрозив сторожу плеткой, велел немедля позвать Ваньку Яблочкова.

Молодой полусотник был хмур и не расположен к длинным разговорам:

– Хватит тебе метлой махать, парень, – начал он сразу. – Завтра поутру пойдешь с заставой на Крымский берег.

...Выжженная за лето холмистая степь, перемежаясь лесистыми распадками, тянулась в полуденную сторону, не обещая ничего хорошего. Ни дорог, ни тропинок. Да и как им тут быть-то, если глубокие овраги, куда ни направься путник, обязательно перережут ему путь.

И все же, дороги здесь были. Как сказочные гигантские змеи, петляя между степными речками, избегая оврагов и низин, они тянулись к самому сердцу России. Сакмы – древние воинские пути, протоптанные конницей забытых

* В основу этого эпизода положено реальное событие, имевшее место в Курске в 1616 году под началом воеводы Ивана Волынского.

народов задолго до татар.

Табор заставы таился в неглубоком распадке, среди невысоких деревьев и зарослей кустарника. Свободные от наряда казаки дремали в шалаше, другие, сбросив сапоги, устало растянулись на пополах вокруг ночного костерка под необъятным звездным шатром. Стреноженные лошади паслись рядом, на небольшой поляне.

Огонь палили скрытно, в приямке. Чтобы пламя не бросало отблесков на кроны деревьев, над костром небольшим шалашиком поставили плетеные из ивняка «укрывала». Степная военная тропа – Кальмиусская сакма* – пролегла совсем рядом, а попасться на глаза татарскому разъезду в планы казаков не входило. Главная задача заставы – разведка. Ежели появятся крымские чамбулы, подадут сигнал в сторону ближней к Курску заставы – запалят большой костер на вершине самого высокого окрест холма. Там, на дереве, давно припасены сухие дрова, обложенные мхом и берестой, укрытые от непогоды. А для надежности и того пуще – малый кисет с порохом. Дрова сразу займутся, даже в дождь, а с ними и ствол дерева. На другой заставе заметят и тем же способом передадут дальше. Ночью огонь заметен, а днем и цвет дыма разглядят. Чем темнее, тем больше татарское войско. Для этого в огонь добавляли сухой конский навоз.

Неприветливые места... Впрочем, здесь можно было прожить всю жизнь, так и не столкнувшись с ватагами хищных конников, охочих до русского полона. Где-нибудь в тихой роще, рядом с рыбной речкой. Охочих до такой жизни было немало – подальше от князей да бояр. Здесь можно было спрятаться от всего мира, да так, что ни один следопыт не найдет, ни русский, ни степняк. Даже хлеб умудрялись сеять в низинках. Главное – не высовываться.

Как раз об этом шла речь у костерка:

– Вона, как получается, – хмыкнул Аким, выскребая из котелка последнюю кашу. – Верстах в пяти на полночь живут себе беглые целыми деревеньками. Что ни год, татары в Россию за полоном ходят, а этих не трогают. Да и нас они не сильно опасаются.

– Всех они боятся, – отозвался Сунбул. – А потому всем богам молятся: и русскому, и татарскому, и ляхскому.

– Известное дело – воля вольная всем мила, – продолжил Аким, вытирая ложку о полу кафтана, – Только бы не как в смутные времена, когда все в растопырку были – хуже не придумаешь. А эти – ни князя, ни царя русского, ни Бога православного не признают.

– Видать, ты мыслями такими обзавелся, когда у Самозванца в войске служил, – усмехнулся полусотник.

– А то нет? – вздохнул Аким. – Оприч* меня в Курске многие с тех пор грехи замаливают. Хорошая наука была. Душу, как огнем ожгло. Тебя-то, Сунбул, те

* Кальмиусская сакма – большая военная тропа татар, захватывала крайний восток нынешней территории Курской области.

годы стороной минули.

– Это как глянуть. Батя в Москве сгинул в войске Пожарского,** старший брат к Болотникову прибился, потом вместе с курским служилыми людьми на сторону Шуйского перешел, а дальше пропал. Видел его кто-то в Сечи.

– Это он вместе с Юркой Беззубцевым*** от вора драпанул? Знавал я его...

Помолчали. Костер едва потрескивал, рядом мирно пофыркивали лошади, похрапывали спящие казаки...

– Я так думаю, – продолжил Аким, – ежели Бог промыслил тебя в реку бурную кинуть, то надо к своему берегу выгребать. К чужому, может, и ближе, только все равно – к своему. По моему разумению, то Господь православный испытание человеку учиняет...

Заставе Сунбула Анофриева ждать сигнала от других не приходилось. Ближе них к татарам никого из курян не было. Крымчаки всегда старались приходиться в Россию неожиданно, а потому очень не любили русские передовые отряды. Если набег крупный, впереди всегда шли разъезды самых опытных головорезов – нагайцев, задачей которых было уничтожить казаков до того, как они подадут сигнал своим.

Сунбул толкнул задремавшего Ваньку:

– Пойди-ка степь поодаль послушай.

Когда осень случалась мокрой, набегов с юга можно было не опасаться. Поляки и запорожцы тоже не любили распутицы. А нынешний сентябрь задался сухим и теплым, Фекла-заревница (24 сентября) уже дня три как минула, октябрь недалече, а ночи, как в августе. Такой погодой татары обязательно должны были воспользоваться.

Вдали от казачьего табора степь заговорила знакомым Ваньке языком. Заунывно перекликались волки, тьякали лисы, ветер шумел в верхушках холмов, какая-то мелкая живность шебуршала в траве. Степь все больше открывалась опытному уху охотника: рыба плеснулась в соседнем озерке, просвистел воздух в крыльях совы-мышатницы, упавшей с небес на свою жертву. Но вот что-то чужое еле слышно вклинилось в эти звуки. Металл звякнул о металл. Еще раз. Уздечка цокнула... А вот кто-то, спешиваясь задел оружием об деревянное татарское седло...

Ванька скатился в овраг, растолкал дремавшего Акима, рассказал, что слышал. Скоро застава была готова принять незваных гостей. В татарских разъездах редко было больше десятка человек, стало быть – поровну. Одного из своих будить не стали, уж очень громко он храпел. Пусть татары думают, что казаки спокойно спят.

Ждать пришлось недолго. Сначала две тени мелькнули в свете почти погасшего костра, потом еще несколько. Вот они уже без опаски движутся к

* Опречь – кроме, помимо.

** Речь идет о событиях в Москве в 1612 году.

*** Реальное событие – курские служилые люди во главе с Юрием Беззубцевым (из детей боярских) перешли от Болотникова на сторону царя Василия Шуйского.

шалашу, в руках длинные ножи для короткого боя.

Ванька беззвучно уложил из лука троих, прежде чем татары поняли, что обнаружены. В черных овчинных куртках мехом наружу они замечались по поляне, то и дело нарываясь на казачьи сабли.

Дело завершилось быстро, из татар не ушел никто. Раненых степняков доби́ли.

– На войне про жалость забудь, – буркнул Аким, заметив сомнение во взгляде Ваньки. Потом вытер татарской шапкой кровь с сабли и добавил, – Оно конечно, тоже люди, только не мы к ним пришли. Слышал присказку: прав медведь, что корову задрал, не права корова, что в лес забрела...

Теперь нужно было найти место, где татары спешили. Кто-то наверняка остался там с лошадьми и мог привести других. Да и порасспросить с душой: сколько войска за ними идет, куда путь держат. Но когда выбрались из низинки, Ванька заметил далеко на горизонте яркую точку. Это был сигнальный костер ближайшей заставы. Он вспыхнул только на миг и тут же погас, как будто кто-то старательно его погасил.

Стало быть, татары уже там. Не успели казачки надежно просигналить. Может быть, дальше к Курску заметили, а может, и нет. Теперь свой сигнальный костер жги-не жги – никто не увидит.

Нужно было, не мешкая, уходить к городу, хотя бы до следующей заставы, а того лучше – к степной крепостице, что стояла верстах в сорока.

– Толковать-то будем с теми татарами, что коней стерегут? – спросил Аким у полусотника.

– А то? Может, поклон передадут от крымского хана. А Яблочко место покажет. Только без него «беседу» ведите, а то совсем душу мальцу выжжем лютостью военной.

Ванька всегда хорошо видел в темноте, но иногда это его умение вдруг еще больше выросло – когда за горло брала опасность. Дед и отец частенько говорили ему в прошлой жизни: «Заматереешь – оприч глаз начнешь душой ведать. Тогда от тебя и за бугром не спрячешься. Этот дар нам от предков...»

Вот и теперь он точно знал, что двое степняков при лошадях дожидаются своих совсем недалеко, в пологой балке. Они слышали шум короткого боя, но уверены, что удача товарищам, как всегда, не изменила. И вот сейчас те вернуться, ведя в поводу казачьих лошадей.

Ванька коротко растолковал Акиму, как ловчее подобраться к тем двоим, чтобы без особых хлопот взять их живыми. Казак удивленно хмыкнул, но перечить не стал. Потом добавил:

– Жди здесь, – и бесшумно соскользнул в овраг. За ним еще двое.

Было по-прежнему тихо. Ни вскрика человеческого, ни всхрапа лошадиного. Ванька уже не видел, что происходило в том распадке, но почему-то твердо был уверен, что для казаков все будет хорошо.

Аким со своими вернулся на удивление быстро. Одобрительно хлопнул Ваньку

по плечу:

– Ну, казачонок, ты как в воду глядел. По-твоему все и получилось. Двое у костерка сидят, удаче загодя радуются. Мы не таясь подошли так, чтобы им из-за пламени нас не углядеть было. Должно, за своих приняли. Начали их расспрашивать, что, мол, и как – по-татарски. А потом вижу, один из них русский. Видать, он и навел нехристей. Похоже, что из беглой деревеньки. А татарское войско завтра к полудню здесь будет. Если не соврали языки, тысяч десять, не меньше.

Казак тщательно вытер нож о землю, вложил его за голенище. Потом добавил, вздохнув:

– Война – не мать родна.

...К ближней заставе подошли только к утру. Кабы по прямой, недалеко, да вот дорога сильно кружеватая – в темноте, вокруг оврагов да буераков.

Из дюжины казаков от татарской сабли не ушел никто. Было видно, что не ждали служилые люди подвоха, не уследили за ночной степью.

– И нам бы так, – вздохнул Аким, сдернул шапку, перекрестился в сторону восходящего солнца. – Лежали бы сейчас с дырявыми глотками, если бы не Ванька...

Быстро выкопали неглубокую общую могилу, не забыв при этом выставить охранение. Опустили туда начавших пристывать казачков, сверху прикрыли их же одежкой. У половины из павших головы были отрублены и разбросаны по всей поляне. Разбираться, где чья, времени не было, а потому приложили наугад.

– Прости, кум Тимоха, ежели невпопад, – вздохнул Аким, пятерней расчесывая седеющие волосы отрубленной головы. – Господь разберется...

Сунбул, как старший по чину, прочитал короткую молитву и велел закапывать. Потом воткнул в невеликий холмик связанный из веток крест – один на всех.

– Тело-то в тесноту, а душа на простор, – грустно подытожил кто-то из казаков. – Все там будем – под терновым-то одеяльцем...

– Ты умирать готовься, ан жить надейся, – отозвался полусотник. – У нас еще дел много...

Запалили потушенный татарами костер, густо добавив в него сушеного конского навоза. Дым пошел черный, как смоль. Следующая застава, если ее тоже не вырезали, должна была заметить и просигнализировать дальше. Но ответного дыма видно не было.

– Хватит уж глаза пялить. Мешкать нельзя, – подытожил Сунбул.

Казачки в последний раз поклонились незаметной могиле и вскочили в седла.

– Ну, степь–матушка, не выдай.

– Валяй, кургузка, недалече до Курска: семь верст отъехали, семьсот осталось.

На самом деле, если по прямой, до Курска было не больше сотни верст, но в этих местах прямо никто никогда не ездил.

– Эх, пожарть бы, – вздохнул кто-то из молодых казаков и покосился на

Ваньку. – Слышь, Яблочко, давно дичинкой не баловал. Впроголодь-то воевать не с руки.

– Потом тебе вздремнуть час-другой, – отозвался Сунбул, оборачиваясь в седле. – Как у мамки дома.

– Самое воевать, – хмыкнул Аким, – Голодная собака сильнее сытого волка...

– Потерпи до вечера, парень. – продолжил полусотник. – Ванька вон, тоже в пузе солома, а шапка с заломом.

– А того лучше, в зубах поковырайся, – подхватили сзади. – Говорят, помогает. Опять же, ныне среда постная...

– Ладно, языки почесали, и будя, – приказал полусотник. – По сторонам поглядываете.

Так уж получилось, что за три дня пути ни разу толком не перекусили. В спешке кто-то обронил мешок с сухарями и солониной, а когда хватился, искать было поздно – татарские разъезды мотались по степи, уже не опасаясь горстки казаков. От степняков нужно было уходить, прятаться, хитрить. Не до разносолов.

Охотных мест по дороге не попадалось, Ваньке удалось подстрелить прямо в полете трех уток из осеннего косяка, что высматривал озерцо для передышки. И хоть еда без хлеба для русского – не еда, но и на том – слава Богу.

Следующая застава была пустой: ни живых, ни мертвых. Они подали сигнал и в спешке ушли в степь. Когда явились татары, сигнальный костер уже прогорел.

– Время только теряем, – решил Сунбул, – На крепостицу путь держать станем в обход застав. Завтра к ночи поспеем.

– Еще бы от хвоста татарского отцепиться, – добавил Аким.

– Вот ты и маракуй, Мироныч.

– Что тут думать-то, не в первой, поди.

Неяркое осеннее солнце уже клонилось к горизонту. Поодаль в его косых лучах блеснула водная гладь небольшого озерца, что пряталось в степной балке, поросшей кустарником. Даже издали было видно, что над озером в изобилии кружили утки. Вот и ужин казакам. Да и коней напоить в самый раз.

– Со жратвой потерпим, – начал Аким. – А сделаем, стало быть, так...

По команде опытного казака спустились в лесистый распадок, что тянулся до самой воды, и там спешили. Двое погнали лошадей к озеру.

– Как солнце края земли достанет, – велел Аким, – палите на берегу костер. Не шибко сильный, ан и не маленький. И чтобы лошади пару раз шумнули. А сами поодаль, ближе к нам, затаитесь с пищалями и ждите...

Остальные залегли в кустах

– Пищали снарядить, – распорядился полусотник. – Чтобы в стволе по гигану* и порох свежий. Пальнем купно по моей команде, а там – в сабли.

– А коли татарове другим путем к озеру пойдут? – засомневался кто-то.

– Выкинь из головы, – отмахнулся Аким. – Они по следу бегут, как волки борзые, морды от земли не отрывают.

– Ты, Ванька, – продолжил урядник, – угнездись у нас за спиной, в полусотне

саженной. Впереди татар разведка пойдет, двое – трое. Их снимешь, когда мы стрелять начнем. Потом к нам...

Полусотник одобрительно хлопнул мальчишку по плечу:

– И не робей. Чтобы злее был, сеструху свою вспомни, что в полон угнали, или мамку. А пока слушай степь, парень...

Со стороны озера коротко заржала казачья лошадь. Потом еще раз. Стал заметен дым от костра.

Земля, к которой Ванька приложился ухом, наконец отозвалась мягким топотом некованных татарских лошадей.

Ванька дернул Акима за рукав:

– Идут... Три десятка лошадей.

– Стало быть, пятнадцать человек, – решил казак. – Остальные лошади запасные.

Ванька слушал. Вот татарский разъезд остановился. Скоро несколько лошадей двинулось стороной, остальные продолжили путь к распадку, в котором прятались казаки.

– Это у них обычай такой, – сказал Аким. – Наши их встретят...

Вот двое татарских разведчиков уже спускаются в балку, вот они миновали казачью засаду, все ближе к Ваньке... Солнце уже зашло, но яркие облака на западе подсвечивали казакам в спину, татарам в лицо. И это учел опытный Аким. Балка в том месте, где спрятался Ванька, поворачивала, и скоро разведчики скроются из вида. Вот сейчас в самый раз – не дожидаясь начала боя.

Двое татар молча рухнули из седел, их лошади, приученные к порядку, стали рядом, даже не всхрапнув. Через мгновение степную тишину взорвал дружный залп казачьих пищалей.

Мальчишка выбрался на верх распадка и, как мог спешно, побежал к месту засады. Там уже дали второй залп – те из казаков, у кого было по две пищали. Уже рубились, слышался русский мат и привизгивание татар.

Он поспел в самый раз: татарин с седла через мгновенье пронзил бы упавшего на землю Сунбула копьем, если бы не Ванькина стрела. Вторая помогла еще кому-то, третья...

Один из казаков принял смерть от татарской сабли, трое были ранены, но держались бодро:

– Прижжем железом – и вся недолга. Не впервой... Петровича жалко.

Уже верхами прискакали те двое, что жгли костер у озера. Они свое дело сделали. Посетовали, что не приспели к бою. Один из них приходился погибшему племянником:

– Тетка слезами изойдет. Ладно жили...

Была опаска, что где-то рядом мог крутиться еще одни татарский разъезд. На звук выстрелов они придут. Или кто-то сумел уйти, и тогда он обязательно наведет своих.

* Жиган (жеккан) – цилиндрической формы свинцовая пуля.

– Мы низом к озеру, а ты, Ванька, наверх – послушай степь – и к нам.

Все было спокойно. Вот перетоптывание брошенных татарских лошадей. Вот казаки пришли к озеру... Волки почуяли нежданную сыть и собираются к тому распадку...

Из татар не ушел никто. А если кому-то это и удалось, то он затаился до утра. Но вот лошадь всхрапнула где-то поодаль, брякнуло железо. И снова тихо... Если это еще одни татарский разъезд, то ехать в стону стрельбы они не торопились.

В лесистом распадке возле озера казаки уже поили лошадей. Кто-то копал могилу для убитого казака. Другие калили на костре ножи, чтобы прижечь раны.

Ванька рассказал полусотнику и Акиму о том, что слышал в степи.

– Надо бы сейчас уходить, – проворчал Аким. – Только без передыху нельзя.

– Опять же Петровича утром похороним, – согласился Сунбул. – Ночью не по-христиански как-то.

Казачки уже кухарили у костра, воспользовавшись продуктами, что добыли в татарских котомках.

– Ты молодец, Ванька, – полусотник одобрительно хлопнул парня по плечу.

– Без тебя не сдюжили бы. А что меня от смерти уберег, на том особое спасибо. По казачьим обычаям, теперь мы с тобой побратимы.

Сунбул сдернул с Ванькиной головы шапку и надел свою:

– Хватит тебе уж стрелецкую носить. Атаманскую заработал.

– По казаку и шапка, – поддержали у костра, неторопливо помешивая кашу в котелке. – Первая ложка твоя, Ваньша. Не поужинавши легче, а поужинавши – лучше...

Николай ПЕРОВСКИЙ
(1934-2007)

«И полынья длиною в жизнь...»

ПОЛЫНЯ

Закрыв глаза – и время вспять:
Колючий снег и стылый ветер,
А мне опять, а мне опять
Искать пристанища на свете.

По хрусткой наледи бредешь,
Куда «авось» тебя направит,
А полынья, как финский нож
В крещенской матовой оправе.

Змеится... манит – спасу нет...
Бежать, бежать, пока не поздно,
На белый свет, на санный след,
На конский храп и визг полозный!

...Судьбе не скажешь; «Отвяжись!» -
Тут не обрежешь пуповину,
И полынья длиною в жизнь
Неотвратимо дышит в спину...
2001 г.

ПЕТЕРБУРГ

Кто двинул рать амуров и химер
В нетесаное царство круглых бревен –
Он просто был слепой или Гомер,
Он просто был глухой или Бетховен?
Напротив Исаакия, в саду,
Мужик справляет малую нужду.
Сдирая с классицизма штукатурку,
На Невском оркестранты правят суд –
Играют разухабистую «Мурку»,

А впечатленья – жмурика несут.
Мой бедный Йорик – жмурик – Петербург...
О, если бы воскрес твой демиург!
Куда скакать кентавру Фальконета?
Кого когтить ощипанным орлам?
Держава, как разменная монета,
Со звоном раскатилась по углам.

Нырять в метро. Шатаюсь, как с похмелья,
Вылазить наугад из подземелья
И догонять грохочущий трамвай.
Рассудком люмпена, душою погорельца
То плакать, то глумиться, как Мамай,
Над миром красоты, сходящим с рельсов.

1991 г.

В РАЙЦЕНТРЕ

В райцентре хоронили старика.
Не знаю, кем он был на белом свете.
Плыла машина, плыли облака,
Старухи, старики, деревья, дети...

А на его рассудочном лице
Такое затаилось выраженье,
Как будто это он привел в конце
Весь мир в одностороннее движенье.

Сдвигалось и смещалось всё окрест,
Живое и бессмертное покамест,
И старый домкультуровский оркестр
Шел во хмелю, хрипя и спотыкаясь.

И довели до места, и снесли
К пределу, где кресты стояли косо,
И с каждым комом брошенной земли
Слабее становился запах тёса.

И стали расходиться, и оркестр
Куда-то поспешал на именины.
А мне казалось: вбитый в землю крест
Ухмылкой провожает наши спины.

1977 г.

Екатерина КОРОТКОВА

ЖИЗНЬ – КОПЕЙКА

ПОВЕСТЬ

В XVII веке, в царствование Алексея Михайловича жили в Москве три девушки. Однажды знаменитая гадалка предсказала им судьбу.

Одной – блестящее замужество – «высоко взлетишь, выше некуда».

Другой – жизнь, полную приключений, «всю в крутых поворотах».

Третьей – тихую семейную колею, без особых радостей и событий.

Одна из девушек вышла замуж за царя. Вторая бежала из дому от злой мачехи, ее приютила гадалка, а потом она вышла замуж за казачьего атамана. Третья стала женой купца средней руки, своего давнишнего воздыхателя.

Одна из этих девушек – историческое лицо: Наталия Кирилловна Нарышкина, мать Петра I.

Прошло тридцать лет и наступил страшный день стрелецкой казни.

НЕЖДАННАЯ ГОСТЬЯ

Он вернулся под вечер, усталый, опустошенный, зашел в маленькую мастерскую, сел на деревянный стул с подлокотниками, откинулся на спинку, с наслаждением вытянул длинные ноги. Так и гудят. Пожалуй, нынче он почти и не присел. В мастерской было полутемно. Тикали вразнобой часы.

Есть не хотелось и свечу зажигать не хотелось. Знакомое двойное чувство переполняло его, и надо было переждать в тишине, темноте, покое.

Утром, когда быстро шагал к застенку, возвращался с дежурства дуралей Боровский. Щенок, пригретый им, из старых, родовитых. Поклонился уважительно, перепуганные большие глаза глядели напряженно.

– Все в трудах, государь. Велики твои заботы.

Царь неласково на него покосился. Болван! Впрочем знал, что дураком молодой князь не был. Просто делает вид, будто и впрямь полагает, что государь, преодолевая себя, собирается исполнить тягостный долг – собственной персоной присутствовать на розыске; самолично, ни слова не пропуская, выслушать признания бунтовщиков.

А у царя глаза косили и дрожали руки от нетерпения – поскорей вцепиться, рвать, давить, терзать и видеть боль и страх в ненавистных глазах супостата. Попрыгунчик этот ведет себя верно. Надо притворяться. И так уж по Москве ползет слушок. И вовсе незачем узнать об этом иноземцам.

Царь сидел, закрыв глаза, а перед ним мелькали залитые потом искаженные лица, ему казалось, он чует и здесь, в мастерской, запах паленого мяса, слышит хруст костей, вопли и скрип зубовой тех, кто не хочет кричать. Но он многих заставил.

Временами мелькал Ромодановский, рукава засучены, на черном балахоне подсыхающие пятна крови, он кричит что-то царю, подручным, человеку на дыбе – сотник Лодыженский – не сразу признал.

Двойное чувство, которое испытывал царь в конце таких дней – или ночей – было, пожалуй, не вовсе двойным – с перевесом. Его переполняло ощущение освобожденности, легкости и пустоты. То, что гнало его утром к застенку, терзало нестерпимо. Расплескав все это, извергнув из себя, он отдыхал, приятная усталость сменяла лихорадку, приятно ныли мускулы, как после работы на верфи.

И одна лишь разница была. Потрудившись на верфи или в кузнице, он чувствовал одну только усталость и радость от того, что можно отдохнуть. После застенка к отдыху примешивалась непонятная гнусь. Он не мог сказать, что ему было противно, что он осуждает и стыдится себя. Не осуждал и не стыдился. Он царь, в его руках судьба России, и он выполняет свой долг. Но было гнусно. Он к этому привык. Это было похоже на плату за столь необходимое ему освобождение от мучительных нестерпимых желаний.

Дверь вдруг отворилась и в комнату вошла высокая женщина в черной одежде. Она быстро подошла к нему и опустилась на колени. Сбросила платок, прикрывавший лицо. Он давно ее не видел, но сразу узнал. Она заговорила первой.

– Я никогда тебя ни о чем не просила, – сказала она. – Петя, выполни мою единственную просьбу. Отпусти Михайлу Каширина. Он честный человек и всегда преданно служил России. Отпусти его и ты никогда о нем не услышишь.

– Встань, Настя, – сказал он. – Негоже тебе стоять на коленях.

– Все мы делаем сейчас то, что негоже, – ответила она. – Обещай, что отпустишь.

Дался им этот стрелецкий полковник. Вчера матушка за него просила. Дескать, знает его с юности, старые друзья. Артамон Сергеевич любил и отличал его. Он верно служил его батюшке Алексею Михайловичу. Все они верные. Все взяли сторону его сестрицы. Вот и Настя – лучшая ее подруга, правая рука. Откуда, спрашивается, в Москве взялась? Ведь умчалась на край света с муженьком своим и всем их ополчением, когда он разгромил Софьино змеиное гнездо. Переписывались, небось, связь поддерживали – царь за границу, они все тут, как тут. Отчего она в Москве? Все следы их затерялись в каких-то далеких краях. Выгнать бы ее, а еще лучше засадить в тюрьму, тогда ее муженек, этот старый разбойник, беспременно явится ее выручать, тут бы его наконец и прихлопнуть и расквитаться за все старые грехи, начиная с разбоя и Стенькина мятежа.

Но беда в том, что сделать этого он не может – у Насти над ним непонятная власть.

Матери сказал он прямо: «Каширин твой – бунтовщик и преступник, значит, будет казнен». И добавил с каверзной ухмылкой: «Одну сделаю тебе уступку – велю Каширина так пытаться, чтобы к плахе на своих двоих притащился». Мать вздохнула и, понурившись, вышла. Не больно маменька – то жалостлива и уж вовсе не привержена она к старым друзьям. Суть тут в другом, но недосуг в это вникать. Дел по горло – престол царский зашатался, пожалуй, посильней, чем девять лет назад.

– Да встань же, будет уж, – сказал он мягко. – Не могу я с тобой говорить, когда ты стоишь на коленях.

– Нет, Петенька, – ответила она. – Пока не выпрошу, не встану.

– Невозможного просишь, – сказал он. – Твой Каширин ничем не лучше других.

Царь не любил и не умел вглядываться в душевные побуждения. Он лишь знал, что при Насте ему всегда хорошо. Еще малолетком переставал вопить и по земле кататься, стоило ей в горницу войти. Да и никто, наверное, не сможет объяснить, отчего у одного человека бывает над другим непонятная власть. Разве что ясновидящий.

В ясновидящих царь не верит. Хотя знает одну. Когда – то очень давно она нагадала матушке, что быть ей царицей. Сейчас она уже стара и к матери приходит редко. А раньше виделись они много чаще, матушка всегда бывала рада этой Аксинье. И конечно по ее просьбе за «друга юности» вступилась – Аксинья и Каширин старые друзья.

Петр помнил, что Аксинья тетешкала его, подбрасывала на коленях и он звал ее нянькой. Но когда малость подрос, его смущал ее внимательный и жалостливый взгляд.

Он даже как – то маменьке сказал об этом.

– Как же ей не жалеть тебя, Петруша, – возразила мать. Ты царь, а лихие люди тебя всего лишили. Все наши друзья сочувствуют тебе.

Сочувствуют... Эти взрослые вечно над ним плачут. А чего его жалеть? Он сам знает, что он царь, и делает что хочет, а хочется ему бегать, носиться, играть и он играл самозабвенно в жестокие детские игры.

УГОЩЕНИЕ ПЕРЕД КАЗНЬЮ

На следующее утро была назначена казнь стрельцов, первыми прошедшими застенков. Их рассовали по подмосковным монастырям и селам. Было их такое множество, что пытке подверглись не все. И сидели вперемешку – изувеченные и избежавшие. Часть изувеченных прямо на полу темниц отдали Богу душу. Покойники лежали среди живых и никто не озаботился увезти их хоть на свалку.

Караульные с ног сбились, волоча на себе калек, растаскивая их по временным каталажкам, вокруг коих толпился народ – любопытные, сочувствующие, но более всего стрелецкие жены с детишками. В этой шумной, плачущей и гневной толпе

выделялись две женщины – одна средних лет, белокурая, с миловидным и добрым лицом. Другая уже в годах, седая с яркими черными глазами. Караульные не орали на них и свободно позволяли подходить к решеткам.

– Люди добрые, – спрашивала белокурая, протягивая сквозь решетку кружку.
– Не попадался вам полковник Михаил Каширин?

Старая женщина вдруг внимательно на нее посмотрела.

– Вон там, направо, подле того угла, – сказал пожилой караульный. – Я личность его помню еще по старым временам.

Он не стал говорить, что был стрелцом и служил в сотне Каширина. Чего доброго еще и сам угодишь в каталажку. Но женщина эта ему понравилась, да и бывшего своего сотника он вспоминал добром.

Беленькая женщина пошла к угловой решетке и седая двинулась за ней. Младшая ее не замечала, шла опустив голову, печальная, убитая.

– Миша Каширин, можешь ты сюда подойти? – ломким взволнованным голосом выкрикнула она.

За решеткой довольно скоро появилось бледное лицо Михаила. Он взглянул на женщину и ахнул.

– Бог ты мой! Дуняша! Ты пришла... Ты простила меня?

– Мне тебя прощать? – ужаснулась она. – Что ты говоришь такое? Мишенька, родненький, милый ты мой! Да я... Да я всю жизнь... Как услышала, так сразу прибежала. Говорят, не всех пытали. – Она жалобно взглянула на него. – У тебя... не обошлось ли? Я гляжу, ты за решетку – то не держишься. Как они, не мучили тебя?

– Держаться мне мудрено, – усмехнулся он. – На дыбе руки выломали. А ноги ничего, стоять могу.

Она совала ему пирог и кружку с квасом, плакала и все твердила:

– Ешь, милый мой, ешь, голубчик. Я держать буду, а ты кусай.

– Боже, Боже мой, да как я мог! Вот кто пришел ко мне... Дуняша, Дуня. А та... да что там. Ты одна? Муж дома остался? Ты счастлива с ним?

Она всхлипнула.

– Шестой год вдовею.

– Правда? Боже мой! А я и не знал! Да что я знал? Узнал лишь перед смертью.

– Кваску попей. А тебя не помилуют?

– Где там.

– Не надобно тебе квасу, соколик! Выпей лучше моей воды, – внезапно заговорила седая женщина. Голос ее был не по летам приятным и звучным. – Водичка родниковая, из святого источника. Гляди и полегчает. Что ж маяться – то всю ночь?

Михаил вздрогнул, он только сейчас ее заметил. Но не успел он рта раскрыть, как она сделала ему знак.

Дуняша резко повернулась к ней и тихо ахнула. Старуха ответила ей недоуменным взглядом.

– Небось обозналась, твое степенство.

Михаил молчал задумчиво, потом нахмурился.

– Да нужно ли мне эту воду пить? – спросил он.

– А почему бы не испить? – возразила она. – Сил прибавится и достойно встретишь казнь.

– Ну что ж, пожалуй, – сказал он. – Спасибо тебе. За все спасибо, – и тихо добавил: – храни тебя Бог... родная, – это слово он совсем уж тихо проговорил.

– Матушка, дай и мне твоей воды! – крикнул, бросившись к решетке, молоденький десятник Голиков. – Я измучился, каленым железом пытали. Тоже хочется достойно помереть.

И другие бросились к решетке.

– Всем дам, соколики, кому хватит, не больно много ее у меня. Знать бы, что в Москве такое творится, я бы бочку от того источника прикатила.

К окну уже бежали караульные.

– Не велено, не велено к приговоренным подходить. Что ты тут затеяла, старая ведьма? Какой такой водой лечишь их? Вон пошла, не то сведем в застенки.

Невысокий сухощавый сержант уже замахивался на нее прикладом.

Она сверкнула на него глазами, словно черной молнией прожгла.

– Дай человеку последний глоток допить, не то сегодня же первым куском подавишься и сдохнешь. – Сержант в испуге отшатнулся, а женщина спокойно повернулась к Михаилу. – Пей, голубчик, надобно все допить. Ну, вот и молодец. Сейчас, соколик, тебе дам, – и стала наливать вторую кружку Голикову.

Но тут сержант, опомнившись, бросился к ней, выхватил из корзинки кувшин и швырнул на землю. Во все стороны полетели осколки.

– Святую воду выплеснул! Вот нехристи! – вскрикнула какая-то старушка.

Но седая женщина уже успела передать кружку Голикову:

– Пей, голубчик, все до дна. С товарищами не делись, от глотка не будет толку. – Потом повернулась к солдатам: – Как так можно? Крещеные ведь люди. Уберите пугачи, сама уйду. Дай поесть этим несчастным, – неожиданно сказала она Дуне, сунула ей корзинку и, не оглядываясь, пошла прочь.

У решетки остались Михаил и Дуня. Сержант хотел и Дуню прогнать, но пожилой солдат остановил его: «Дай людям поговорить. Ты же видишь, какая она».

– Миша... Это ведь... – тихо заговорила Дуня.

– Я здесь никого не знаю, кроме тебя, – быстро ответил Михаил. И добавил совсем другим голосом. – Ах, Дуня, Дуня, как я тебя упустил.

«Повторись все вновь, опять бы упустил», – подумала она, но говорить ничего не стала. Не укорять его она сюда пришла.

ИГРА

В мастерской потемнело. Настя поднялась с колен.

– Ну, будет на тебя молиться. На тебя молиться – прямая дорога, сам знаешь куда.

– Ты меня тоже за антихриста считаешь?

– Много чести. – Помолчала, покачала головой. – Не думала я, что ты такой мелкий. Мою просьбу не уважил, чтобы подданные тебя не осудили. Или бояться меньше станут?

Он вспыхнул.

– А чем ты лучше последнего из моих подданных? Сподвижница этой гадины, моей сестрицы, что, никаким злодейством не брезгуя, почти вползла на престол. Жена разбойника и сама разбойница. Бродяжка, невесть где живущая. Вот кликну стражу, и повесят тебя. Плахи не достойна.

– Почему? Я хорошего рода, – спокойно ответила Настя.

Петр почувствовал вдруг страшную усталость и почти миролюбиво сказал:

– На легкую смерть не надейся. Допросить тебя с пристрастием придется. Бунт этот не обошелся без вас с муженьком. Вы как бы не главные зачинщики. И что тебя все к мятежам тянет, дворянская дочь?

Настя не ответила, и снова стало слышно, как тикают вразной часе.

– Я не лукавила с тобой – всегда держала сторону Софьи, – прервала она, наконец, молчанье. – А уж ты–то тут наговорил. Запугивать меня зачем–то вздумал. Да еще бродяжкой обозвал, – добавила она и засмеялась.

– А тебя, что нельзя запугать?

– Сам видишь. Выходит, нельзя. Я тебя встретила впервой, тебе два года было. Ты ровесник сыну моему. Гляжу, мается мальчонка, бесится, так его и корчит. Подошла, а ты и утих. И сейчас вот тоже успокоился быстро. – Она замялась в нерешимости и вдруг сказала: – В тебе зверь какой–то сидит и грызет тебя. Совладать ты с ним не в силах.

Он сморщился. Откуда она знает? Да, грызет. И именно зверь. Многим ли, кто видел его в гневе, приходит в голову, что в нем сидит зверь?

Он вскинул голову.

– И что же, этот зверь тебе покорен?

– Не приведи Господь мне с ним дело иметь! – с ужасом воскликнула она. – Я думаю, он никому не покорен. Боюсь, ты покоряешься ему.

– Ну, и почему же я при тебе спокоен? – спросил он с любопытством.

– Аксинья сказывала, да больно мудрено. Ты, мол, любишь жить по своей воле, ходить не по торной дорожке. И я такая, всю жизнь так живу. Только я в Бога верую, меня вера оберегает. А к тебе, неведомо почему, чуть не с рождения темные силы лепятся. Вечно ты в какой–то лихорадке. Вон как перекошило–то! – испуганно воскликнула она. – Я за тебя молюсь. Может, молитва помогает.

– И чего же ты просишь для меня у Бога?

– Не многого. Чтоб поспокойней стал и добрей. – Она просительно на него взглянула. – Ты слышал, наверно, после пытки люди в тюрьмах, не дождавшись казни, умирают. Пощадил бы ты хоть тех, кто еще сможет жить. Нешто эти увечные бунтовать станут?

– А у тебя губа не дура, – хмыкнул он. – Пришла просить за одного, теперь всех ей подай.

Она, наконец, рассердилась.

– Это тебе всех подай, – сказала сухо. – Ты как людоед, право. Знаешь ты такое слово – милосердие? Слышал?

– Милосердие царя не украшает.

– Ой ли?

– Верно говорю. Царю приличествует твердость.

– И зверство?

– Отцепись ты с этим зверством. Что я, первый царь, который подавляет бунт? При покойном батюшке сколько этих мятежей бывало. Все от милосердия да от доброты он из них не вылезал. А я завтра залью Москву кровью, так неповадно будет бунтовать.

– Что ты судишь отца да еще за достойные свойства? Он был справедливый, добрый царь. И столицу свою кровью не заливал. Петя, Богом тебя прошу, отмени это побоище, и ты будешь царствовать спокойно. Господь за милосердие вознаградит тебя.

Он смотрел на нее, широко раскрыв глаза, странным взглядом, будто с надеждой. Потом судорога исказила его лицо.

– Сказки! – крикнул он. – Про доброго царя – все сказки! Я никого не помилую. – И злорадно спросил: – Будешь ты молиться за меня?

– Буду, – упрямо сказала она. – Ты и до сих пор никого не миловал.

Он повернул к ней голову, встретил ее неуступчивый взгляд и вдруг захохотал пронзительным, злым смехом:

– Обо всем побеседовали, – проговорил он сквозь смех. – Особливо о душе да о милосердии. Одно осталось. Дежурного денщика позвать и отправить тебя к палачу. Ты там с ним тоже про милосердие потолкуешь. Ну, а завтра, будь любезна, петлю на шею.

Шутит он, думала Настя, или и впрямь казнить решил? Говорит он вроде в шутку, но ведь он такой, он это любит – поиграть, как кот с мышом, а потом и схрупают. И наплевать ему, что при мне у него проходит его дурная лихорадка. Ему сейчас на все наплевать. Однако не лезть же, зажмурив глаза, в петлю. Шевелись, мышка, думай, мозгами шевели.

Настя улыбнулась и подошла к столу.

– Напиши мне пропуск, – сказала она. – Потом можешь вызывать караульного. Только пропуск пусть на столе лежит. – Она потрянула головой. – Играть так играть. Сперва пропуск. А уж после этого валяй и к палачу, и в петлю.

Он посмотрел на нее с любопытством.

– Хорошо придумала, разбойница.

Обмакнул перо и на клочке бумаги черкнул: «Пропускать везде. Петрь».

Поглядывая то на Настю, то на клочок бумаги, он весело спросил:

– Что дальше будем делать?

– Гривенничек подкинь, – сказала она.

Он смеялся дурашливым непрерывным смехом.

– Ищи деньги, – приказала Настя.

– А копейка годится? – спрашивал он, давясь от смеха. – Жизнь – копейка!

А? Хорошо!

Он шарил по карманам. Там что-то звякало. Так и не вытащив копейку, он вывалил прямо на стол грудку гвоздиков, монет, железок.

– Выбирай, – сказала она.

Он шарил по столу дрожащими пальцами, исходя задышливым смехом.

Настя взяла пропуск со стола.

– Придется мне самой сходить за караульным.

– Ишь хитрая. Не выйдет, – хохотал он. – Пропуск-то отдай. Схватила пропуск, а мы сговорились, чтоб жребий.

И вдруг он перестал смеяться.

– Будет, наигрались, – выдохнул он сипло. – Я сам позову кого надо.

Кончилась игра.

Настя глядела на него, не мигая. Был он страшен, уродливо страшен. Нос вытянулся, словно клюв, глаза перекосило. Руки, сильные, рабочие руки дрожат в нетерпеливой лихорадке. А как он хохотал еще минуту назад!

Насте казалось, она очень долго стоит. Потом она повернулась и пошла к дверям.

– Ты что? Да тебя на куски разорвут, – услышала она сиплый голос.

Он вскочил, пошатнулся и снова сел.

– Дежурный! Задержать ее! – прошептал он.

«Господи, сейчас начнется приступ и никого нет рядом, – подумал он с ужасом. – Как бы голову не расшибить».

– Что государь? – спросил Настю дежурный денщик.

– Отдыхает, – ответила она кратко и прошла мимо, не показывая пропуска.

Пропуск она показала, выходя из ворот, и сказала караульному:

– Государю худо. Быстро лекаря ему.

ТЕМНИЦА

Ночью в темнице послышалось ворчанье: «Ты чего навалился? Подвинься! Ишь разлегся, право, как бревно». Те, кто не спали и перешептывались в углу, замолкли и прислушались. И вдруг тот же голос вскрикнул: «Батюшки! Скончался!» «Кто помер? Кто?» Вся камора проснулась.

– Да полковник этот, Каширин. Вчера гости к нему приходили да угощали наперебой. Вот и напился целебной воды.

– Точно ли он помер, Васильич? – спросил сотник Ярошецкий. – Может, просто крепко уснул.

– Нет уж, я покойника от спящего отличить сумею, – отозвался тот, кто поднял тревогу. – Сердце не бьется, совсем не слышать. И не дышит. Холодеть уж начал, вот как!

Наступило тягостное молчанье. И вдруг сотник сказал:

– А он ведь не хотел пить эту воду. Может, не зря. Кто его поил–то? Беленькая эта?

– Нет, старуха.

– Это седая, с черными глазами? – раздался голос из того же угла. – Ну, такая чем угодно напоит.

Опять все смолкли.

– Ты на что же намекаешь, Денис, – строго спросил сотник. – По–твоему выходит, она ему отраву дала?

– А на что ты намекал, говоря, что Каширин не зря отказывался пить воду? – тут же возразил ему из темноты Денис Татаринцев, тоже, кстати, сотник.

– Нет – решительно вмешался чей–то новый голос. – Не такой человек Михаила Каширин, чтобы на грех самоубийства пойти и не разделить с товарищами общую судьбу.

«Верно», «не таков он» «верно», – сразу отозвалось несколько голосов. И один лишь печально заметил: «Себя не знаем, за других как ручаться? Может быть, терпенье кончилось у него».

– Не похоже, – возразил сотник Ярошецкий. – Михаил Никитич был духом тверд. И не так уж его пытали. У нас тут пострашней увечные есть.

– Да, не столь уж он был замучен, – поддержал его Денис. – С бабами своими любезничал долго. Особливо с той, что помоложе. Коли жизнь опостылела, тут уж не до баб. Небось, поверил он своей знакомке. Что она ему пообещала: мол, силы придут и достойно встретит смерть?

– Стойте! – вдруг испуганно вскрикнул кто–то. – Стойте, братцы. Мне вроде помнится, не один Каширин воду пил. Еще кто–то пожелал достойно кончину встретить. И старуха успела сунуть ему кружку, прежде чем эта скотина сержант расколотил ее кувшинчик с зельем.

– Сержанта, может, следует за это похвалить, – проговорил вдруг сотник Ярошецкий. – Давайте вспомним, кто еще пил воду? И тогда уж точно будем знать, что Каширин умер не случайно. Ведь что ни говори, а после пытки молодой человек мог помереть и без всякой отравы. Ну, вспоминайте же, кто?

– Пашка Голиков, чего тут вспоминать, – откликнулся молодой голос. – Он от ожогов очень страдал. Его этот лохматый бес калеными щипцами замучил. Палач из палачей, самый главный.

– Ну там не разберешь, кто у них самый главный бес, – сказал Денис Татаринцев.

– Это что еще за речи? – вдруг заговорил незаметно подошедший к решетке сержант. – Розыск вели первые люди в царстве. Я тебя давно приметил, языкастый. Видно, мало тебя пытали. Узнаешь завтра настоящую пытку.

– Не бреши, холоп, – отозвался Денис. – Завтра нас целой толпой на тот свет погонят. И если станут уж кого пытаться – так не за то, что палача назвал бесом.

– Будет тебе, сотник, со стражником рядиться, – строго остановил Дениса Ярошецкий. – Тут дело важное, нечего лясы точить. Кто рядом с Голиковым спать ложился?

– Голиков, это молоденький такой, худощавый? – отозвался поднявший тревогу Васильич. – Да он тут же, у стенки лежит. Эй, сосед, кто там рядом с тобой, пощупай.

– Со мной рядом? – крепко напирая на «о» отозвался сосед. – А мне и невдомек, как его звать. Сейчас погляжу, кто тут рядом.

Наступила тишина, даже сержант молчал и только слышался шорох.

– Вроде Голиков и впрямь. – сообщил сосед.

– Спит он? Дышит?

– Да вроде не дышит.

– Господи! И откуда такие олухи берутся! Пропусти, дубина, мы проверим.

– Ну, чего ругаетесь–то? Вечно вы, московские, гонор свой показать норовите. Проверяйте, мне что? Мертвый он и есть мертвый.

– Не рассуждай. Подвинься, – сказал начальственный голос. – Да, умер, братцы.

– Это Голиков? Верно? – спросил сотник Ярошецкий.

– Верней некуда. Он.

– Вот тебе и водичка из святого источника, – протяжно сказал кто–то.

– Ну, Белоус, – зловеще произнес сержант. – Будет тебе завтра расправа. Если бы не ты, не подошла бы эта ведьма к решетке и никого бы тут не поила. Ты им дорогу сюда показал. Вашего полку прибыло, – добавил он злорадно. – Еще одна головушка на плаху ляжет. В стрельцах служил – вам как раз подходящий.

Никто не ответил ему.

РАССВЕТ

Остаток ночи промелькнул быстро. И наступил рассвет, ярко–розовый, как просочившиеся первыми капли крови.

По мостовой загремели колеса. Захлопали двери. В темницу вошли солдаты.

– Всем встать к этой стенке, – распорядился сержант. – А ты чего лежишь? Живой, вроде. Вот шевельну тебя штыком. А–а... Ребята, этих к той стенке, их

на телеги надобно отнесть, ходить не могут. Мертвяков? Да вон туда, в угол. Сколько их? Шестеро? Не так уж много. Ну, выносите недвигомых, братцы. А вы стойте пока, отдыхайте, – обратился он к стоявшим у стены офицерам.

Солдаты понесли тех, кто не мог идти, и в дверях столкнулись с шустрыми мужиками, торопливо ринувшимися в темницу. Первым ворвался поворотистый, бедовый толстячок.

– Словно хищники на падаль, – сказал сотник Ярошецкий стоящему рядом Денису. Денис был молод, в сотники произведен недавно, и его многие звали просто по имени.

Толстяк заметил лежащего на спине Каширина – Михаил стал человеком известным еще при Алексее Михайловиче и его многие знали в лицо.

Толстяк взял Михаила под мышки и поволок к дверям. Но добычу перехватил какой–то лохматый, заросший бородой по самые глаза. Из–за обилия волос только и были видны его светлые, на редкость наглые глаза.

Лохматый тут же отбил Михаила и не поволок – понес – тело к дверям. В дверях его дожидался какой–то выползень с мутными глазами, и они понесли тело вдвоем.

– Как упыри, – с омерзением проговорил Денис.

Лохматый вдруг обернулся и внимательно посмотрел на него.

– Чего это он на тебя уставился? – спросил Ярошецкий. – Встречал что ли когда?

– А пес его знает, – пробормотал Денис. И добавил, пожав плечами:

– Где я мог такого встречать?

Лохматый вскорости вернулся, а выползень, как видно, остался на телеге. Толстяк тащил умершего еще с вечера пятидесятника с перебитым хребтом. Он испуганно оглянулся на лохматого, но тот и бровью не повел, а быстро направился в угол, где какой–то угрюмый верзила, склонившись над Голиковым, поворачивал его, чтоб половчее ухватить.

Лохматый тотчас дал ему в зубы, да так крепко, что тот свалился на пол. Победитель подхватил труп Голикова на руки. Проходя мимо Дениса и Ярошецкого, он остановился, переложил покойника поудобней, взглянул на сотников и сказал непонятное: «Знал бы я...» Потом понес свою скорбную ношу к дверям.

Сотники промолчали. И лишь когда их соединили цепью, сунули в руки зажженные свечи и повезли к лобному месту, Ярошецкий спросил:

– Что, и сейчас скажешь, не встречал?

– Да кто его разберет... Лица–то не видно, – нехотя отозвался Денис.

Не хочет говорить, – подумал Ярошецкий, – казнь близка. А ведь ясное дело, этот буйан ворвался в их темницу лишь для того, чтобы увезти тела Каширина и Голикова, двух человек, пивших ту воду. Зачем? Да он, видать, такой ловкач, что может и не положить их в общую яму, а схоронить в каком–нибудь спокойном, тихом месте под раскидистым дубом или березкой, гляди, еще и панихиду

отслужат. Небось, родня заплатит. Хорошо бы так уйти на вечный покой. А у них впереди плаха, а не то на кремлевских зубцах повиснут.

У Дениса не было таких благочестивых мыслей. Разворошила его эта встреча. Лицо старухи накануне показалось ему знакомым. Ночью же, когда началась суматоха, он сразу вспомнил: Аксинья, лекарка и гадалка, ее судили за волшебство, когда он, Денис еще пешком под стол ходил, и освободили по ходатайству государя Алексея Михайловича и царицы Натальи.

Все это рассказывал ему приблизивший к себе способного парнишку Федор Леонтьевич Шакловитый. С Кашириным у Аксиньи старинная дружба. И Денис сразу подумал: ну, эта не только может отравить, сказывают, есть такое колдовское зелье, наподобие воды живой и мертвой, – отравить может, может и оживить.

Буян с наглыми глазами и мерзкая утренняя суета так возмутили его, что он не сдержался. Но когда их взгляды встретились, глаза вовсе не были наглыми. Во второй же раз, когда мужик этот огорченно сказал: «Знал бы я...» и посмотрел на него с жалостью, Дениса словно кипятком ошпарило.

Это был казачий атаман, служивший Софье, а после разгрома девять лет назад и казни Шакловитого оказавшийся одним из немногих, кому удалось спастись. Они несколько раз встречались с Денисом, готовя нынешний мятеж.

Ох, судьба, судьба, не так легла копейка. Атаман, конечно, не мог спасти всех стрельцов, с которыми имел дело. Он спасал Каширина – старинные связи. Но если бы он знал, что они сидят в одной темнице, Денис не шел бы сейчас к плахе, где ждали его страшные муки и страшная смерть. Он ведь молод еще, только тридцать сровнялось. Грешные мысли одолели его, надо душу к другому готовить. Но взбаламучена его душа несбывшейся надеждой и трудно будет утихомирить ее.

УТРО КАЗНИ

Утром царь был свеж и полон сил. Могучее здоровье и искусство придворного лекаря сделали свое дело. Вчерашнего приступа как не бывало.

Наступил день праздника. Реки крови прольются и смоют с лица земли самых главных его супостатов, еще 16 лет назад явивших ему свое буйство, ненависть и жестокость. Он не будет больше видеть страшных снов наяву. Забудет ужас свой и унижение.

Царь был весел, он готовился своими руками добить поверженного врага. С ним были его сподвижники, разделявшие его радость, как и он, готовые к славному действию.

И начался пир.

НА ТЕЛЕГЕ

Паша Голиков открыл глаза и увидел высокое синее небо и плывущие в нем легкие облака.

– Я умер? – спросил он.

– Куда спешить? – откликнулся веселый женский голос. – Нешто на телеге ездят на тот свет?

В самом деле он, кажется, лежит на телеге. Сзади дышит лошадь, слышен скрип колес и какие-то люди негромко смеются. Он попробовал сесть, но две сильные руки мягко надавили ему на плечи. Над ним склонилось женское лицо с яркими черными глазами. Женщина была немолода, но – странное дело – красива. Лицо знакомое. Когда он ее видел?

– Ну что, соколик, руки-то болят поменьше?

И тут он ощутил, что к нему возвращается страшная боль от ожогов на груди и животе. Руки почему-то и впрямь не болели.

– Здесь больно, – сказал он. – Руки не болят.

Женщина весело объяснила ему:

– Ты как начал дышать, я тебе смазала лицо и руки. А дальше не успела. Потерпи, милоч, сейчас будет еще больней, а потом отпустит.

Он наконец узнал ее.

– Матушка! Это ты меня водой поила? Чтобы казнь... Когда будет казнь? – спросил он с ужасом.

Женщина открыла ему грудь, взяла баночку с мазью.

– Казнь милый мой, в Москве, ее не отменяли, – вздохнула она. – А тележки наши отъехали отсюда уже далеко.

Боль ожгла нестерпимо, чуть ли не хуже, чем от щипцов палача. Но он сдержался, стиснул зубы и задышал со свистом.

– Терпи, соколик. Может, она и вправду не слабже, нежели от щипцов. Только там тебя калечили, а я лечу.

Как она догадалась, что он подумал про щипцы?

– Вот она молодость, – сказал мужской голос – кто-то, как видно, подъехал верхом. – Очнулся, лечится. Эк его ведет от твоей мази. Может, дали бы раньше поесть?

– Что ты, – отозвалась женщина. – Такие ожоги. Их запускать нельзя. Потом поест. – И подняв голову, тревожно спросила: – Миша как? Не начал дышать?

– Пока нет, – ответил всадник. – Как ты думаешь, очнется он?

– Должон очнуться, – не совсем уверенно сказала женщина. – Вот закончу грудь и будет тебе передышка. Это какой же сукин сын постарался так пожечь тебя?

Где уж там передышка, думал Паша, сердце выскочить готово, а она все мажет.

Но вот наконец кончилось мученье.

– Покамест будет, – сказала лекарка. – Пойду к Михайле. Передохни, сынок.
– И заглянув ему в лицо, улыбнулась. – Ты молодец, терпелив. Небось, клянешь меня последними словами?

Боль и в самом деле стала проходить. И руки не болели. Чудеса! Что ж это за люди такие? Вытащили его из темницы, везут куда–то, лечат. Надо бы вспомнить, что было вчера.

– Дышит, дышит Михаил! Ну, слава Богу. Обоих спасли, – загомонили женские и мужские голоса.

Спасли обоих! С кем вместе его спасали? Как все вспомнить? Две женщины подошли с корзинками. Там пироги были и вода. Сержант разбил кувшин! Осколки полетели. Он ясно вспомнил это. Воду расплескали, а корзинки с пирогами остались. Он не ел тогда. Боль страшная, не до еды. И сейчас болит. Но есть вдруг захотелось.

– Эй, дядя! – окликнул он возницу. – Не найдется ли чего перекусить?

Тот обернулся. Ох, и неказист!

– Перекусить как не найти, – ответил мужичонко. – Да ведь тебя, племянничек, не долечили. Аксиныя! – крикнул он. – Оголодал твой хворый. Как его кормить–то?

– Да какой же он хворый, коли есть просит, – откликнулась лекарка. – Он уж почитай здоровый. Я тут Мише руки вправляю, а его Настя покормит. Приподнять его маленечко за плечи, он и поест.

Настя это та вторая, беленькая, подумал Паша. Кто же этот Миша, которого спасли вместе со мной?

Но кормить его подошла совсем другая женщина. Высокая, в мужской одежде. А беленькая тоже тут? Он вдруг вспомнил, как она вскричала: «Миша Каширин, можешь ты сюда подойти?» С этого–то все и началось. Так вот с каким Мишей его вместе спасали. Что ж беленькой–то этой не видно, небось, возле полковника сидит.

ЛОБНОЕ МЕСТО

Но Дуняша была далеко, где никого не лечили, а только мучили и отправляли на тот свет. Царские сподвижники разыгрались. Сделав зверское лицо, взмахнет шутник топором и как будто по нечаянности опустит его на хребет. И раз, и два и больше «ошибались».

Робкая и жалостливая Дуняша чуть не падала, но уйти не могла. Как уйти, не попрощавшись с Мишей? Не проводив его в последний путь? Ноги подкашивались, а она все бродила, бродила. Осеняла крестным знаменем умирающих. Слезы заливали ей глаза. И никто из встречных горожан не мог ответить: казнили ли полковника Каширина и, ежели казнили, то когда, и куда отвезли хоронить.

Но вот в конце концов государь вспомнил о Каширине. Всех офицеров в

высоких чинах постигло уже заслуженное наказание. Самых главных повесили перед окнами ненавистной сестрицы. А что до прочих, тела бросали прямо тут же на земле, отрубленные головы цепляли на зубья городской стены. В прочем, как не возбужден был царь кровавым пиром, сквозь возбуждение пробилась тревожная мысль: где же наконец Каширин? Больно много женщин за него просили, даже мать. А он всем отказал. Последней приходила Настя и довела его до припадка. Если б не припадок, болтаться бы и ей пред окнами ее подруги Софьи Алексевны. Этакая дерзость – заговорщица приходит хлопотать о заговорщике.

Он подозвал Лефорта и спросил:

– Каширина когда казнили?

– Я не видел, герр Питер, чтобы кто–нибудь его казнил.

– А самого его ты видел?

– Совершенно так же, как и вы, не имел этого удовольствия, – улыбаясь, ответил Франц.

– Да его вроде не казнили, – вмешался Меншиков.

– Так чего ж ты тут торчишь? – закричал царь. – Быстро марш и разузнать, в чем дело.

Дело разъяснилось через пять минут. Каширин помер ночью и на рассвете вместе с другими мертвецами его свезли в общую яму на пустырь.

– Своей смертью подох, сукин сын, – проворчал Петр. – На пустырь, так на пустырь, не спасли его бабы.

БЕСЕДЫ В ПУТИ

На привале Паша был уже совсем здоровый. Михаил Каширин ложку ко рту с трудом тянул, а Пашка вскакивал, бросался помогать, подсаживался то к одному, то к другому. Возчик Гаврила пошел по воду, увязался за ним.

Ему все было любопытно. Ведь и впрямь, как в сказке. Вчера корчился от боли на полу, а тут, на тебе, такая благодать – вокруг все зелено, журчит река и осенней листвою пахнет. А главное – воля. Не сидишь в темнице и не ждешь, что вот ворвутся, схватят и погонят, как скотину на убой.

Он уже знал своих спасителей. Человек, подъезжавший на лошади и похваливший его за молодость и живучесть – атаман, Иван Кириллович. Он все это дело задумал и исполнил вместе с Гаврилой, утром увез их из темницы, вроде бы хоронить. Высокая женщина, что кормила его, когда он лежал на телеге, атаманова жена Настя. Возчик, правивший второй телегой, был неразговорчив, но внимателен и учтив. Аксинья – и слов нет – добрая волшебница. Право же, попал он в сказку.

Один Каширин угрюм, словно жизни не рад. Отчего он такой? Печалится, наверное, о товарищах. Паше тоже грустно думать о них, но ведь жизнь подарена! Может, Каширин считает, что грех спастись, когда все погибли, он ведь

совестливый, благородной души человек. А может, грустит о знакомке своей Дуне, что так плакала вчера у решетки.

За Гаврилой по воду он увязался не случайно. Утром спал на телеге, освободившись от боли, и вдруг услышал странный разговор:

– Что же ты такой лазутчик несравненный, – говорила, очевидно, Настя. – К Софье так пробраться и не смог?

– Невозможно было, – отвечал Гаврила. – Там не то что мышь не пролезет, муха не пролетит.

– И записку не передал?

– Говорю тебе, все глухо. Уж поверь. В другой раз попробую, когда поутихнет.

Зато Марфу повидать сумел.

– Ну и что она?

– Да плачет, вся в слезах.

– Как не плакать, – сказала Настя. – Натворил Петруша дел.

Они помолчали, потом Гаврила зачмокал и погнал побыстрее.

Как необычно все, как любопытно. А имена–то – Софья, Марфа, Петр. Это о каком же семействе они говорили?

И сейчас, направляясь к реке, Паша словно невзначай спросил:

– Скажи, Гаврила, о какой Марфе ты рассказывал, что все плачет безутешно?

Кто она и почему так плачет?

– Как же ей не плакать? – Гаврила, кажется, никакому вопросу не удивлялся.

– Бойтся. Она казачка, из наших, а муж у нее стрелец.

– И что ж, его схватили?

– Нет, он не в Москве. А к ней засаду поставили в доме. Вот и плачет. – Он зевнул, потом добавил: – Я думал, ты спал.

– Да, спал, – ответил Паша. – Сквозь сон услышал и проснулся. Вчера вечером каширинская знакомая, эта Дуня, видно, добрая душа, так уж плакала над ним. Ты ее знаешь, Дуню?

– Нет, – ответил Гаврила и зачерпнул второе ведро, – откуда мне ее знать. Ты воду пока не таскай, Аксинья сказывала, мол, ослаб после пытки и надо тебя поберечь.

Бог ты мой, еще вчера вечером никто и не думал его беречь. И полный радости жизни и освобождения от боли он побежал вверх по кособору, бросился на траву и лежал, раскинув руки, и ни о чем не думал.

Но совсем не думать он не мог. Кто они, эти люди? Какой Софье носили записки? С какой Марфой встречались, и кто этот Петр? Старые друзья полковника Каширина нагрянули в Москву, чтобы спасти от казни. Заодно спасли и его. Нет, люди они не простые, как провернули все дело.

Потом опять сидели у костра и пили вкусный ягодный отвар, сготовленный Аксиньей. Паша, улыбаясь, оглядывал своих новых друзей. Нравились ему эти люди. Все какую–то станицу поминают, где их ополчение живет с женами и детишками. Уехать бы туда... Куда? Он так до сих пор и не знает, где она, эта

станция. На Волге, в Крыму, в Литве?

Он никак не мог на месте усидеть. Настя пошла собирать на опушке грибы, он увязался за нею. Оба они развеселились, каждому слову смеялись. Паша расспрашивал про станицу, ловко придумывал вопросы, стараясь допытаться, в каких же она краях.

Настя веселилась и городила всякий вздор: что, мол, там чудища живут вроде Змея Горыныча, и дыни растут, и клюква есть. Потом вдруг озабоченно сказала:

– Паша, ты устал. Посиди в холодке, отдохни.

Спутники его расположились на траве и о чем–то толковали. А он побрел к большому дубу на пригорке, сел, прислонился к стволу. С чего он устает, не делает ведь ровно ничего.

* * *

– Наверняка пока не знаем, – сказал Иван, – иначе очень может быть, что птичка подсадная. Ты там что хохотала–то с ним? Об чем таком веселом толковали? – повернулся он к Насте.

– Больше насчет станицы спрашивал меня, – неохотно ответила Настя. – Где она, в каких находится краях?

– Так прямо и спрашивал?

– Исподволь. Какую одежду носят зимой. И есть ли река или море.

– Да! – с досадой произнес Иван. – Молодой, говоришь, любопытный, – обратился он к Аксинье. – Что же прямо не спросить? Море ему, вишь, понадобилось, да носят ли зимой тулупы.

– Он хороший паренек, – вступилась Аксинья. – И мы понравились ему, это я чувствую. Что он в жизни видел? Голодуху да бедность. Может статься, и соблазнили. С ним бы по душам поговорить, откровенно.

– Поговори, поговори, – буркнул Иван. – Что же он раньше не признался нам, спасителям своим, хорошим людям?

– Запутался, не решился. Да ведь и страшно.

– Запутался, – сердито проговорил Иван. – Ну, мы выложим ему, что все знаем. Тут он сразу же решится и попросится к нам, вопросов больше предлагать не станет, доедет до станицы, а потом сбежит к своим хозяевам, что малость не угробили его. И нагрянет к нам Петруша.

– Да, мог Паша помереть, – сказала Аксинья. – Очень много ожогов.

– Что привязались к парнишке, – впервые заговорил молчаливый возчик, с которым ехал Каширин. – Да он сам не свой от радости, что спасся. Вот и болтает, как дурной, и спрашивает, языком молотит.

– Больно много спрашивает, – вмешался Гаврила. – И расспросы его мне не нравятся.

– Костя верно говорит, – возразил Иван, – с радости да сдуру что угодно наболтать можно. Ксюш, сходи–ка ты к нему. Ты вот чувствуешь: он к нам

расположен. И мне вроде кажется так. Но ведь одно другому не помеха. Может, сумеешь побольше узнать.

– Ох, грехи! Собачья работа, – Акси́нья встала, кряхтя. – Видать, и впрямь придется. Но противно это мне, слов нет.

– Стыдно, братцы, – проговорил Каширин. – Замученный, запутавшийся мальчишка впервые в жизни встретил порядочных людей. Неужели же мы станем лезть к нему в душу, используя свое уменье? Если даже он и вправду подсадной, он успокоится и сам нам все расскажет.

– Не расскажет, боится, – сказал Иван. – Нас боится. Или те запугали.

Запугали или соблазнили, думала Акси́нья, поднимаясь по пригорку.

Пашу разморило, но он не спал.

– Все в сон клонит, соколик?

– Сам не пойму, – он виновато улыбнулся. – Я же ничего не делаю.

– А пытка? Пытка хуже, чем болезнь. Человек от болезни слабеет, а уж от таких – то мук... Ну, давай, снимай рубашку, стану дальше тебя лечить.

– Опять больно будет? – спросил он с испугом.

– Нет, теперь уж сильно не заболит. Еще разок другой придется. Пятна побледнее станут, а то прямо страх.

Ее руки гладили его спину, плечи, он успокаивался, засыпал. Пожалуй, самая пора заглянуть к нему в душу – как там Миша сказал? Все та же сумятица, – он расположен к ним, это ясно, но и что – то другое манит его – шум, праздник, музыка, парадный мундир, – посулили бедняге успех... страх, обида... У Акси́ньи от жалости похолодело сердце.

– Пообещали, что пытать будут для виду? – спросила она.

– Обманули сволочи, – прошептал он сквозь сон.

ВЕСТИ ИЗ ТЮРЬМЫ

Петр так расхотелся, что никакой усталости не чувствовал. Пятерым сразу головы снес. Глаза его сверкали страшным весельем, лицо сводила судорога, может быть, он улыбался. Он ходил, глядел и жадно впитывал в себя долгожданную радость.

Вдруг он увидел, что к нему пробивается какой – то офицер, за коим следуют сержант и солдаты.

– В чем дело? Кто такие? – крикнул он, недовольный, что его отвлекают.

– Я – начальник тюрьмы, – испуганно заторопился офицер, глядя в гневные глаза государя. – А вот это сержант, он все расскажет, он вчера стоял на часах и видел, как с Кашириным и Голиковым дело было.

– Какой еще Голиков? Не слыхал. Каширин умер?

– В том – то и дело, государь... приняв во внимание... и опять же...

– Не тяни! – яростно крикнул царь. – Отвечай быстро: умер?

Испуганный тюремщик выпалил:

- Есть сомнение, государь.
- Что?!

У царя стали такие страшные глаза, что тюремный начальник чуть не лишился чувств.

– Князь кесарь где? Хорошо. Вот к нему и отведите. Слышишь ты? Доложишь все князю Ромодановскому.

Час от часу не легче. Ромодановского боялись больше, чем царя.

ПОГОНЯ

Паше снился страшный сон. Будто он лежит в могиле, и кругом мертвяки и только он один живой. Он хочет выбраться на волю, но у него нет сил. Он все старается, рвется и ничего не может. Надо закричать, позвать на помощь, но не шевелятся губы.

Проснувшись, он не сразу осознал, что это лишь приснилось. На дороге его спутники переговаривались, запрягая лошадей. Он подбежал к ним, они замолчали.

Что все же случилось? Он же ничего не сделал, не сказал. А может они как-то догадались? Они ведь ушлые, страсть! Такое творят. Он щенок перед ними.

Паша вспомнил, каким он чувствовал себя маленьким и жалким, когда Ромодановский уставил на него свои свинцовые глаза и просипел: «Из-под земли достану, понял?»

И тут вдруг прямо шибануло: зачем я про Марфу спросил? А ведь я хотел еще ловчее завернуть. Прямо в лоб: «Марфа и Софья – сестры?» Слава Богу, не спросил. Куда уж мне с ними ловчить?

– Сейчас догнать уже могут, – сказал атаман.

Настя вынула из короба мужской парик, напялила на себя, и лицо ее стало чужим и странным.

Иван зачем-то сел на место Кости, неразговорчивого возницы. А Костя сел на атаманова коня.

– Пособить не надо? – робко спросил Паша.

– Да что там пособлять? Садись, сейчас поедем.

Ответила Настя. А остальные на него и не глядят. Он подошел к Аксинье, она вздохнула, отвернулась.

Он, сгорбившись, сидел на телеге и тоскливые хмурые мысли набегали как осенняя волна. Кто он? Простой мужик, крестьянский парень. Ничего не умеет, не знает. Говорят, смекалка есть. Деревенская смекалка. А эти... Разве он им чета? Умерших оживляют. Из-под земли достанут. Те вон тоже обещали не сильно пытать. А как спалили? Страшный этот Ромодановский. В застенке все один другого страшнее. Царя мельком увидел – не приведи Господь!

Эти добрые. Но вот они догадались. Теперь тоже пытать будут? Или просто убьют?

Зацокали копыта. Кто—то их догонял.

— Обозные, стой!

Разъезд, человек двадцать.

— Кто такие? Пропуск имеется?

Константин, он тоже был в парике, достал пропуск, не тот, что показывали раньше. Паша понял: разъезд из Москвы. Да ведь это за ними погоня!

Офицер оглядывал их цепким взглядом и посматривал в свою бумагу.

— Женщина одна, — пробурчал он. — А ну, голову открой.

Аксинья сбросила платок. Батюшки светы! Накрасилась, насурьмилась, как гулящая. Кудри черные, глазами играет.

— Хм, — сказал офицер. — Зачем с собой такую взяли?

— Попросилась. Боится одна.

— Ни черта она не боится, — буркнул офицер. И снова их внимательно оглядел.

Нас ищут, верное дело, подумал Пашка. В бумаге приметы, небось. Только в приметах писано, что должно быть две женщины и двое изувеченных. А они с Михаилом на вид уже здоровы. И бабы переоделись.

— А ты, малый, тоже к чудотворной? Чем болен? — внезапно повернулся к Паше офицер.

— Я — ничем. У меня бабушка болеет.

— Бабушкам положено болеть. Зря такие, как ты, дорогу загромождают.

Офицер кивнул Косте. Они отъехали в сторону. Наверное, отпустит. Хабар возьмет.

Офицер еще раз проглядел бумагу и смотрел им вслед. Вот беда, во всем его разъезде никто не знает Каширина. На первый взгляд к описанию подходят. Пятеро крепких, справных мужиков. Старая колдунья, небось, поехала другой дорогой. Вторая перекараситься могла. Но должно быть двое увечных. И атаману, сказано, под шестьдесят, глаза светлые. А у ихнего жоака глаза карие и никак ему не больше, чем сорок. Нет, не так уж тут все подходит. Заплатили, впрочем, хорошо.

Моргнул бы я офицеру, думал Паша, их бы всех схватили. И Аксинью? И Настю? Они мне жизнь спасли. А теперь убьют. Если бы я дал знать офицеру, награду получил бы и зачислили в Семеновский полк.

Может, в Семеновский. А может, в застенок. Эти тоже запросто мне устроят застенок в лесу. Или в станицу свою увезут. Тоже радость небольшая. Да что голову ломать? Сказал так, как сказало, и нечего про это думать.

РОМОДАНОВСКИЙ

Князь кесарь в истории, рассказанной сержантом, разобрался быстро.

Оказалось, он даже сам участвовал в ней. Заранее подозревая, что старинные друзья и подруги Каширина постараются его спасти, он подсадил к нему в темницу теплую, прямо из рук своих пташку и велел ей не спускаться с Каширина

глаз.

Свои люди были у Ромодановского везде, и среди стрельцов тоже. Один весьма нуждавшийся в деньгах полуполковник рекомендовал ему зело подходящего на его взгляд парнишку.

– Вьюноша темный, прямо из курной избы, эдукации никакой, – говорил он. – Но живой, неглупый, толковый. И смелости отчаянной. При всей серости и отсутствии связей произведен уже в десятники.

– В бунте замешан? – спросил князь Федор Юрьевич.

– К стрелецким делам равнодушен, мне кажется; скорей хотел бы в Семеновский полк и карьеру сделать. Но по живости нрава успел кое в чем поучаствовать, так что можно притянуть.

– Стрельцов всех будут судить, пытать и предавать казни, – флегматически произнес князь кесарь. – В том числе и тех, кто ни малейшей живости не обнаружил.

У полуполковника отвисла челюсть.

– А–а... Как всех?

Князь кесарь взглянул на него и в очах его промелькнула какая–то бесовщинка. Правда, потом он все же посоветовал написать прошение об отпуске, в связи с нездоровьем родителей. Человек этот мог еще пригодиться.

Вьюноша, столь горячо аттестованный, предстал пред очи князя Ромодановского. Это и был Пашка Голиков. Остальное, нам уже известное, князь кесарь пересказал царю.

Наглый атаман, увозя на своей тележке хладные тела спасенных, на прощанье пронзительно свистнул. Это было нечто вроде подписи. Атаман славился своим разбойным, леденящим душу свистом. Он и ополчение свое выучил так свистать на устрашение неприятелю. Говорят, и впрямь устрашал.

– А почему ты думаешь, что их спасли? – нетерпеливо спросил Петр.

– Аксинья Соколова участвовала, – кратко ответил князь кесарь. И добавил: – Есть такое зелье, вызывает временную смерть. Она, небось, о нем тоже знает.

Далее он сообщил, что разослал по следам беглецов дюжину конных разъездов, велел скакать как можно шибче, не щадя коней, предупредил, что разбойники могут менять внешность.

– Я полагаю, какой–нибудь из разъездов с ними уже поравнялся.

– Велики ли у тебя разъезды? – спросил Петр. – Не получится у этой шайки над нами перевеса?

– Наверяд ли. Мне уж доносили. Три телеги видели по дороге на Тулу. А чтобы их большой отряд где–нибудь дождался, когда вся Русь разъездами кишит, не такой он дурак, атаман этот.

– А какой дурак придумал, – вдруг разъярился царь, – везти покойников на пустырь? Я, кажется, ясно приказал: засыпать всю Москву мертвыми телами.

– Лейб–медик твой присоветовал, – отвечивал князь кесарь. – Холеры

страшится гораздо. Говорит, казненные для назидания пусть хоть год лежат. А эти своей смертью померли и начали уже разлагаться. От них только вонь, а назидательности никакой. Городской голова согласился.

– Назидательность ему понадобилась, – буркнул царь. – Вот я ему башку снесу для назидания. Слушай, – вдруг произнес он просительно. – А может, они в яме так и лежат? Сходить проверить и не мучиться, ожидая, когда их разъезды твои настигнут.

– Что ж, сходи проверь, – согласился князь кесарь. – Соратников прихвати. Там чуть не сотня трупов.

А Петр уж загорелся. Скорей, скорей. Раскопать эту яму, вытаскивать, посмотреть в ненавистные лица и узнать, наконец–то узнать, может быть, он вовсе и не спасся столь любимый друзьями Каширин.

БЕГЛЕЦЫ

После того, как Паша не выдал своих спутников, он сделал первый шаг к примирению с самим собой. Он успокоился, сам с ними заговаривал, ему отвечали, и дело вроде бы пошло на лад. Он поступил по–честному. Они спасли его, и он их спас. В самом деле, моргни он офицеру, и их было бы двадцать с лишком против троих, – Михаил пока что не владел руками. Но Паша человек порядочный. Эти люди спасли ему жизнь, он не мог их предать.

Спутники смотрели на довольного Пашу и посмеивались, кто добродушно, кто не так уж.

– И чего ты к нему привязался? – говорила Аксинья Ивану. – Парень честно поступил и доволен. Что тут худого?

– А худо то, – отвечал Иван, – что он, не сделав подлости, благодетелем себя нашим считает. То ли глуп, то ли душа с червоточинкой.

– Ну ты уж скажешь, – возразила Аксинья. – Зелен он еще свою душу понимать.

– Иной до старости проходит зеленым, – сухо сказал Иван.

– Бывает, – неохотно согласилась Аксинья. – Ну до старости ему далеко.

Погоди, я думаю, войдет в разум.

– Самое время годить – погони на каждом шагу, – сердито ответил Иван.

Солнце клонилось к западу, когда быстро ехавшие беглецы решили дать лошадям передышку. Они свернули в березовую рощицу на высоком берегу реки. Развели костер. День выдался очень жаркий. Есть Паше не хотелось, а тянуло его посидеть у реки. Он стал спускаться с косогора и оглянулся на оставшихся.

– Я малость посижу у воды.

– Иди, иди, – махнул рукой Иван. – Мы еще не скоро.

Он сидел, глядя на бегущую воду. Хорошо тут, спокойно, не думаешь ни о чем. Встал, умылся, походил немного и снова сел, слушая милое журчание

речки. Уходить не хотелось. Пора, — сказал он себе строго и двинулся вверх.

Костер залили водой и трава слегка примята. Пустая роща встретила его.

Как же так, они все только что тут были, — и Аксинья, и Иван, и Настя. И Каширин расхаживал, осторожно шевеля недавно вправленными руками, и два возчика — красивый и неказистый. Только что были и вдруг никого.

— Укатали, — растерянно проговорил он.

Ну что ж, зато он свободен и от этих, и от тех. Раз укатали, значит, не убьют. И не уволочут в свою станицу. Ни о чем теперь не надо думать, ничего не надо выбирать. От московских прятаться придется. Если он попадется им в руки, прикончат раба Божьего и глазом не моргнут. Подальше от Москвы куда-нибудь забраться, а дело он себе всегда найдет. Пойдет в солдаты, сбежит на Дон к казакам, к мужику богатому пристроится в зятя. А может, в монастырь — вот где покой. А то — в разбойники. Он усмехнулся. Выбор большой. Побредет потихоньку проселками и что-нибудь придумает.

В траве белел какой-то узелок. Он подошел, нагнулся. Лепешки, солонина, чистая рубаха и баночка с остатками мази, какой Аксинья лечила его. У него сдавило горло и теплые слезы, как горошины, покатались из глаз.

Ну, шагай, свободный человек. Москва в той стороне осталась, он пойдет в другую.

СПОРЫ НА СТАРОЙ МЕЛЬНИЦЕ

— Ты что, Миша, затосковал, словно тебя силком оттащили от плахи? — неожиданно спросил Иван.

Разговор этот назревал уже не первый час, но не при Пашке же его вести. Сейчас он загорелся, как костер, то вспыхивая, то погасая.

Михаил слабо улыбнулся.

— Нет, почему же, я все понял и знал, что делаю. Насильно меня никто не тянул.

— Что ты вяжешься к нему? — рассердилась Настя. — Слов благодарности никак не дождешься? Ты хоть помнишь, что сейчас в Москве?

— Забыл! — выпалил Иван и сделал оловянные глаза.

— Брось, Ваня, не сердчай, — мягко сказал Михаил. — Я же знаю, вы жизнью ради меня рисковали, а Настенька просила его за меня и чудом не погибла. Знаю, чувствую, но ведь слов не подберешь благодарить за такое. Вы уж поверьте мне, что я не чурбан бесчувственный.

— Что не чурбан, поверим, — сказал Иван. — Не распинайся. И что в Москве сегодня дееется, об том у нас у всех сердце болит. И мое — не каменное.

— Понимаю, все понимаю. А ты знаешь, тот рыжий парнишка, подручный Шакловитого... Он ведь со мной в одной темнице был.

— Знаю, — буркнул Иван. — Он давно уж не парнишка. Видел я его в темнице.

— Он нахмурился, вздохнул. — Все понятно, все так, а теперь скажи мне, что же

еще не так?

– Что еще? – переспросил Михаил. – Ну, это ясно. Меня везут Бог весть куда. В Россию путь мне заказан, и я оставляю здесь самых близких.

– Ну самых – не самых, надо еще разобраться. К Федоту Чеботареву ты и впрямь наезжал часто, а касаясь других... К слову сказать, а что, мы тебе совсем не близкие?

Михаил взглянуть на него мрачно и ничего не ответил.

– Снова здорово, – вздохнула Настя. – Миша, насчет твоих близких у меня задумка есть. Может очень даже складно получиться. Я тебе потом расскажу. Только вы с Иваном раньше доспорьте.

– Нам вроде не о чем уже спорить. Что ты там задумала, скажи.

– Есть о чем спорить, – возразил Иван. – Ты, Михайло, знать, не зря служил в Посольском приказе. Наговорили мы порядком, а о главном ни слова.

– Я всем вам очень благодарен, – сдавленным голосом сказал Михаил. – А насчет моей дальнейшей судьбы готов повиноваться любому вашему решению.

– Ты что, сдурел? – спросил Иван. – Говоришь таким голосом, словно дохлым мышом подавился. Да еще такую чушь несешь. Мы тебя в полон не брали.

– Я буду жить в твоей станице, верно? – спросил Михаил. Серые глаза его смотрели жестко, недобро. – Кем я буду там? С колотушкой по ночам ходить? Или казачат учить «аз» «буки»? Ты пойми, – вдруг выкрикнул он. – Я казачьей воинской службы не знаю. Я всю жизнь стрелец. Но даже иноземная мне понятней, чем ваша.

– Так и думал, – хрипло сказал Иван. – Так и думал. Хорошо же ты обо мне полагаешь – с колотушкой. – Он поднял голову, глаза его светились гневом. – Ты мой гость дорогой, понял, дурень? Отдохнешь, поправишься и езжай, куда душа пожелает. Вот Аксинья погостит у нас, а после на Дон подастся. Тоже ведь оставила близкого на Руси.

– Мне на Дону делать нечего, – мрачно сказал Михаил.

– Кто тебя туда гонит? Отдохнешь, оклемаешься, – езжай в любую страну.

– Не больно я там нужен, – проворчал Михаил. – Нигде меня никто не знает.

– Как нигде? – удивилась Настя. – У тебя в Польше сколько друзей. Живы они – Есень, Маринич?

– Ну какой же Маринич мне друг? И как он может быть жив? Давно помер, старый пропойца. А Есень... Есень – это да. И другие найдутся знакомые. Как же я про Польшу – то забыл? – Михаил заметно повеселел. – Возможно ли отправить туда из твоей станицы письмо? – повернулся он к Ивану.

– Послать – то можно, да больно долго ждать. Из Малороссии пошлем, с дороги. – Иван тоже повеселел и сразу перестал сердиться. Настя просто счастлива была, что кончились эти глупые споры.

– А ты что это затеяла, супруга? – с любопытством спросил Иван. – Не дождавшись, когда кордон переедем, в Польшу эпистолау посылать? С кем ты

ее отсюда отправишь?

Перед Настей стояла большая шкатулка, на плоской ее крышке располагались дорожная чернильница, перо и лист бумаги.

– Никого я не собираюсь в Польшу посылать, – удивленно и слегка обиженно сказала Настя. – Это совсем другая эпистола. Вы малость помолчите – послание невелико, да отправить его надо поскорее.

Она и в самом деле справилась быстро. Потом прочла им вслух и гордо огляделась.

– Хорошо придумано?

– Нет слов, – сказал Иван. – И в кого ты такая умная? Не иначе как в мужа. Федот Чеботарев в пяти верстах отсюда. Я его сейчас и отвезу.

– Не спеши ты так. Больно скорый, – остановила его Акси́нья. – Дай с мыслями собраться. Малость погоди.

– Что зря я это? Не нравится тебе? – обеспокоено повернулась к ней Настя.

– Да нет, придумала ты складно. Попробовать стоит. – Акси́нья улыбнулась.

– Ты и в пятнадцать лет толковая девка была. Я к тому, что незачем так уж сразу бежать. Земля, что ли, горит под ногами?

– Да пожалуй, что горит, – сказал Иван.

А Михаил добавил:

– У нас горит. А уж как она горит у этого несчастного Пашки. В любой миг схватить могут. Утром жизнь подарили, а вечером отберут. Хороши спасители.

– Да кто его схватит, кому он сдался? – буркнул Гаврила.

– Разъезд построже попадетсЯ. Или разбойничков встретит, – стоял на своем Михаил.

– Миша, будет тебе, – жалобно попросила Настя. – Мы ведь все обговорили. Ты лучше письмо подпиши. Там сказано, что ты поставишь подпись.

Михаил, смущенно улыбаясь, неловко обмакнул перо и старательно вывел под стремительными Настинными строчками большую косолапую букву «М».

Стало тихо. Все старались не смотреть на Акси́нью. Что она надумает, долго ль будет размышлять?

Но она не размышляла, просто ждала. Мысли ее были совсем о другом.

Они съехались в Москву и спасли кое-кого – порядком было удачных побегов. И вдруг, как обухом по голове: Михаила казнят в первый день.

Они послали самых лучших на это неподъемное дело: Иван, Костя – его есаул, лучший разведчик Гаврила. Ну и они с Настей, это уж само собой. Больше всех рисковал Иван, если бы его схватили, его ждала мучительная казнь.

Иван придумал все и жизни своей не жалел, спасая чужую. Со стороны казалось, он старинного друга спасает. Тот же Пашка, уж конечно, так решил. А они ведь не друзья, они – старинные враги, соперники. У них общие друзья, общее дело и тридцать лет – немалый срок. Но как вспыхнула, как жарко разгорелась давняя, забытая как будто бы, вражда и ревность. Заварила тогда Настя кашу. А уж хороша была!

Мишка охотился за атаманом, хотел свести в застенок. Иван его наверно бы убил, слава Богу, разъехались вскоре.

Тридцать лет, конечно, немалый срок. Но тлеет огонь под пеплом.

– На что он разбойникам? – сказал вдруг Иван. – Рубаха драная, портки – на помойку бросить. Скорей в шайку могут заманить. Парень крепкий и не трус. В разбойники гош.

– Не смею спорить со знающим человеком, – сказал Михаил.

Они взглянули друг на друга и рассмеялись.

Тут засмеялись наконец–то все. И молчаливый Костя, и Гаврила – скрипучим заржавелым смехом. Настя так и покатилась, сроду смешливой была.

Кто знает, может и погасло наконец так долго тлевшее пламя.

Вдруг Аксинья встала. Она уже не витала в дальних временах. Глаза ожили и заблестели.

– Пора, – сказала она и повернулась к Ивану. – Один не ездит, возьми Настю. Дела такие – женщина нужна. Поезжайте сперва к Чепуровым. Да побыстрее оборачивайтесь там. Мы здесь на мельнице будет ждать. Небось, и заночуем.

СУД СКОРЫЙ И ОТЧАСТИ СПРАВЕДЛИВЫЙ

В яме не обнаружилось ни Каширина, ни Голикова. Царь был в великом гневе и сказал, что надоели ему их дурацкие рожи и он хочет побыть один. Ему подали его обшарпанный кабриолет, он сидел, откинув голову, закрыв глаза.

Но и в закрытых глазах мелькали топоры, отрубленные головы. Как раз рожи больше всего и мелькали. Со всех сторон окружали его глаза – ненавидящие, испуганные, пустые, обращенные к стоящим тут же, рядом женам и детям, обращенные в себя.

Все время почему–то вспоминалось, как подвели к нему связанных цепью двух офицеров. Один, пожилой, смотрел на него с непонятной жалостливой грустью. Второй, еще молодой, высокий, рыжий с дерзкими зелеными глазами. Сотник Денис Татаринцев. Петр запомнил его еще в застенке. «Чему ты смеешься?», – спросил его тогда царь. «Не вижу смысла экзекуции, – ответил тот с усмешкой. – Ты ломишься в открытую дверь. Мой отец еще при твоём отце долгополый кафтан укорачивал и бороду подстригал. Его за это журили, но на плаху никто не тащил. При государе Федоре Алексеевиче дело дальше пошло. Сам государь надел кунтуш и придворным велел так ходить. Москвичам иным понравилось и себе такие же пошили. Полы обрезают постепенно, а ты хочешь враз. И из–за этого уничтожишь все стрелецкое войско». «Вас и надо уничтожить всех до одного» – ответил Петр. Дерзкие зеленые глаза смотрели с насмешкой: «Нетерпелив. Обезлюдит Россия при таком торопливом царе. Ты ж на нас не успокоишься».

Царь велел пытать его особо жестоко, но Татаринцев ни разу не вскрикнул.

Увидев его дерзкие глаза у плахи, Петр задрожал от гнева. Он подозвал Лефорта.

– Вот этого печальника развеселишь, – он указал на пожилого. – А рыжего.... Рыжий – мой!

– С удовольствием исполню, герр Питер, – отозвался веселый Франц.

– Ну, – обратился Петр к наглому супостату, – умничать ты сейчас не будешь, благим матом будешь орать.

– Не утерпишь, – ответил сотник. Дерзкие зеленые глаза взглянули Петру в очи с возмутительной, непереносимой насмешкой.

Царь взмахнул топором и одним ударом снес ему голову с плеч.

* * *

Когда царь вернулся с пустыря, на лобном месте добивали последних.

В стороне стояли, дожидаясь его, несколько солдат, свидетели по Каширинскому побегу. Неторопливо подошел князь кесарь. И свита подошла.

– Дело, государь, тебе уже известно, – сказал князь Федор Юрьевич. – Распорядился же я так. Казнить двоих. Остальным караульным всыпать по двадцать плетей.

– Это за что же? – закричали сразу несколько голосов. – Мы не с той стороны караулили, вовсе ничего не видали. Шутка – двадцать плетей? Все в гошпиталь сляжем, а кто и помрет ни за что, ни про что.

– И впрямь, государь, – негромко сказал Шереметьев, – надо бы разобраться, кто свидетелем был.

– Ох, Борис, – укоризненно покачал головой царь. – Мягкосердечен ты, слишком мягок, гляди, как бы не дождался беды.

– С ними теперь не разберешься, – отмахнулся князь кесарь. – Все будут твердить, что ничего не видали и друг на друга кивать. Времени на это тратить не стоит. Каждому по десять, – сказал он палачу.

– Светлая голова, – одобрил царь. И спросил оживленно: – А кого казним?

– Казним сержанта, – объявил князь Федор Юрьевич, – за то, что не поднял сразу тревогу и этим допустил побег.

Сержант бросился Ромодановскому в ноги.

– Пощади, светлейший! Накажи, как хочешь, только жизни не лишай. Я служил тебе, как верный пес, а теперь еще пуще стараться буду.

– Плохо служил, – сказал Ромодановский и сделал знак палачу.

Сержант встал на ноги, слезы у него мигом просохли, и он зло и едко сказал:

– Не цените вы верность. Всех верных слуг разгоните, а всяческая шваль вам будет из корысти служить и из корысти же вас продаст.

Князь кесарь, словно и не слышал, продолжал:

– Казнить также солдата Белоуса, показавшего двум бабам, где сидит Каширин.

Белоус поник головой. Он и ждал казни и не ждал. Услышав, что казнить будут двоих, он подумал: Не меня ли? Но за что? Не он один показывал стрелецким женам, где сидят их мужья.

– За что казните? – спросил он.

– За нарушение караульной службы, – сказал князь кесарь.

А царь, совсем развеселившийся, добавил:

– За неуместную доброту.

– А где же эти две бабы? – оживленно спросил Ягужинский.

– Одна уже далече, – проговорил Ромодановский. – А вторую домой унесли. Она бродила тут весь день и плакала, а узнав, что Каширин, возможно, спасся, сомлела от радости и лишилась чувств.

– Так не наказать ли ее за сочувствие к врагам государя? – спросил неугомонный Ягужинский.

– Ты, любезнейший, меня моему делу не учи, – холодно сказал князь кесарь, так холодно, что Ягужинского пробрал мороз. – Никакого у нее нет сочувствия ни к врагам, ни к друзьям, и Каширина она 30 лет не видала. Просто курица, глупая баба. – И подумал плотоядно: «Вот Аксинью я бы на костре спалил».

Таких баб, как Дуня, у князя Федора Юрьевича полон дом и обходится он с ними сурово до жестокости. Однако к деятельности Преображенского приказа касательства они не имеют. А Ягужинскому незачем не в свое дело лезть.

Солдат Белоус, слышавший этот разговор в ожидании казни, был доволен, что Дуню не тронут и что – непонятно как – но, может быть, остался жив его бывший сотник. Правда, какая уж тут радость, когда плаха ждет. Славная эта Авдотья, думал он, 30 лет верность хранила. И сейчас еще миловидна, а в молодости, наверно, хороша была. Отчего Каширин на ней не женился? Он ведь холостой.

А умирать без вины неохота. Какая его вина? Царь сказал, его за доброту казнят. Ну, если его судьба помереть безвинно, то слава Богу, что не попусту, а за доброту. Лучшей смерти не пожелаешь. Блеснул топор, и душа солдата Белоуса полетела прямо в рай.

* * *

После встречи с подозрительным обозом поручик Зозулин то забывал об этом случае, то вновь впадал в сомнение. Отъехав в сторону, он вытащил «приметы» и прочел, что разбойники могут менять внешность, причем зело изощренно.

Старая баба очень уж накрашена, бьет в глаза. К чему это изощренным людям? В памятке сказано, что женщин с ними двое – одной 45, другой под семьдесят, совсем старуха. Нет, ее, пожалуй, с ними не было. Но зачем накружилась вторая? У сидевшего в телеге парня пятна на лице. Правда, пятна эти очень слабы, ведь вчера Голикова прижигали каленым железом. Вроде, не

они, но подозрение есть. И хабар отвалили щедрый.

Надо упредить другие разъезды, пусть как следует обыщут – пошарят в телегах, сорвут парики. Правда, сам он этого не сделал.

Столкнувшись на перекрестке с московским разъездом, посланным с такой же целью, как они, поручик промолчал, ибо явственно видел, что ему светит пытка, а может быть, петля. Ну, а если беглецов поймают, в чем он сильно сомневался, уж они–то бесприменно расскажут, как наградили его.

* * *

Неподалеку от их разъезда, по другой дороге шел Пашка Голиков, удаляясь от Москвы. Так два обычных, небезгрешных человека поначалу допускаявшие, что могли бы выдать беглецов, от мыслей этих отказались, страхась жестокого и скорого на расправу начальства.

ПО ТЕМНОЙ ДОРОГЕ

Закат пылал столь пышной красотой, что глаз не оторвать, и стоя на пригорке, Паша загляделся на золотой, багровый, алый разлив. Там что–то все время переливалось, менялось. Яркий алый поток, становясь все шире, сгущался, темнел. Кровь! Такие же потоки крови льются сегодня в Москве.

Как мог он весь этот страшный день, когда гибнут сотни его товарищей, думать о разных разностях, прикидывать, как ему быть, расспрашивать, вызнавать что–то у спутников?

Понурился, он стал спускаться с холма. Небо темнело. Паша никогда не задумывался, хороший ли он человек. Если бы его спросили, он бы сказал: хороший. Он отважен. Не скуп. Зла никому не желает. Главное же, ему нравятся хорошие люди, и они тоже хорошо относятся к нему. Зная это, он невольно зачислял себя в один разряд с ними.

Но всей своей жадной до жизни натурой чувствовал: в стрельцах служить – гиблое дело. И тут вдруг счастье привалило – предложили перевести его в хороший полк.

Правда, велели следить за Кашириным, которого могли похитить враги государя. Паша должен был врагам этим помешать. Он, конечно, понимал, что похитить – значит освободить, и что он, Пашка Голиков, будет мешать тем людям, которые хотят Каширина от казни спасти. Но тут так уж получилось – свои против своих, а он давно собирался перебежать на ту сторону.

В темнице, где он очутился, было много офицеров в высоких чинах, говорили они между собою смело, и многие считали, что стрельцам хана. Он дивился их откровенности, но они нравились ему. И Каширин, за которым он следил, тоже понравился. Особенно же сотник Денис Татаринцев. Тот прямо говорил, что не будет больше на Руси стрелецкого войска, добавляя при этом много нехороших

слов о государе и его сподвижниках.

Паша очень удивлялся, почему такой бравый и молодой еще офицер не попросился в какой-нибудь полк государя. Он даже по росту мог бы в Преображенском служить. В то же время он прекрасно знал, что тем путем, на который вступил он, Пашка, Денис бы не за какие блага не пошел. Паша объяснял это себе просто: я – мужик, он – дворянин. Но сейчас ему вдруг пришло в голову, что дворяне подличают нередко и мужики за веру в огонь идут. Видно, не в сословии, а в человеке дело. Видно этот восхищавший его Денис – совсем другой человек, чем Паша.

В своей единственной беседе с Ромодановским Пашка ни слова не сказал о том, что говорят о государе и о князе кесаре Денис и его друзья. Правда, Ромодановский его об этом не спрашивал. Он был умен и, зная, что в темнице много привлекательных людей, не хотел спугнуть парнишку раньше времени. Поглубже втянется, тогда и будет разговор.

Спустились сумерки. Паша шел по все больше темневшей дороге, и сердце ныло от какого-то непонятного страха.

Думать он не особо любил, и все эти мысли, такие новые и неожиданные пугали его и в то же время не отпускали.

Как хорошо было утром – высокое небо и легкие облака, и такие славные люди, так радовались, что спасли чужого, нечаянно подвернувшегося парнишку. Аксинья вылечила его и даже сейчас, когда его все бросили, оставила ему еду и лекарство. Но есть не хочется, смутно на душе.

«Да что же сделал я плохого?» – крикнула его смятенная душа. И в самом деле, он вроде как на службе, и Ромодановский велел ему побольше разузнать об этих людях, которых он до этого в глаза не видел.

Теперь он их знает. Хорошие люди. Примчались из каких-то далеких краев спасать товарища, которого много лет не видали. А он, Пашка должен был им помешать. Что сказал бы Денис, если б узнал о нем правду?

Он поймет сейчас, вот-вот ухватит. Ему нравились всегда хорошие люди, а он пошел служить к плохим против хороших. И даже если бы он что-то важное узнал и сбежал от них в Москву и его бы наградили и взяли в семеновцы, было ли бы ему хорошо среди плохих людей?

Нет, не то! Совсем не тут разгадка. И среди семеновцев есть много славных ребят, Паша знаком с ними, и стрельцы не раз бывали жестоки, как звери. Нынешние его спутники – казаки. Непохоже, что им приходилось жечь кого-то каленым железом, но поубивали уж конечно многих.

Душа ныла нестерпимо. Он остановился в темноте, испуганный, замученный. Что ему делать?

А Дениса, наверное, уже казнили. Никогда не взглянет он на Пашку веселыми зелеными глазами. Не спросит, усмехаясь: «Что, десятник? Хреновые наши дела?»

Вчера беленькая женщина разыскивала Каширина и плакала. Паша узнал

сегодня, что она всю жизнь его любила, а Каширин любил какую-то другую, которая за него не пошла. Но у нее лицо светилось, когда она с ним говорила и кормила его пирогом.

Эти люди знают друг друга 30 лет и не теряют из виду. А он их за один день потерял. Встретит он когда-нибудь Аксинью? Вот он, вот он ее узелок и баночку положила, эту баночку он на память сохранит. Он гладил ее, трогал, не выпускал из рук. Это все, что от нынешнего дня осталось.

Как он бросился пить эту воду! Это чутье ему подсказало: Каширин выпил, значит, ему надо пить. А если бы воду выпил не Паша, а Денис? И был бы жив, и ехал бы с казаками под темным небом? Как хорошо! Но тогда бы мертвый Паша лежал где-то там в Москве на мостовой. Мог бы он пожертвовать для Дениса жизнью? Нет, он не хочет умирать! Так неужели же вся жизнь такая – я или он?

– Маменька, милая, – сказал он жалобно, – что же ты меня такого на свет родила? – И мать он уже больше года не видел.

Что он сказал сейчас про себя?. Такого. Разве он не такой, как все? Да уж наверно. Пошел в соглядатаи. Не он первый, конечно. Но те живут спокойно, а он измучился. Стал противен себе. Всю эту неделю он живет, как подлец. Подслушивает, выспрашивает, изолгался. Он любит хороших и честных людей? И хочет, чтоб они его любили? За что? Они жизнью рисковали, спасая Каширина, а он старался им помешать.

Раздумывал сегодня – идти в разбойники или в монахи? Какой же он человек? Дрянный человек. Просто хочет устроиться получше и на всех ему наплевать.

Как мерзко быть себе противным. О себе одном думал и остался один темной ночью на пустой дороге.

Нерожденная душа металась в страшных муках. Он почувствовал такую боль, что сердце остановилось. Бросился лицом на землю и горько зарыдал.

На дороге послышался конский топот, но ему было уже все равно. Пусть его схватят, убьют... За сегодняшний день он потерял столько людей, которых полюбил, хотя и знал совсем недолго.

Лошадь остановилась возле него. Всадник спрыгнул. Еще кто-то скакал следом.

– Пашенька, милый, чего же ты плачешь, – сказал женский голос, которого он не узнал. – Я говорила тебе, я говорила... – с укором сказала она.

– Ну, я-то что? – отозвался мужской. – Мы вроде вовремя приехали. Пробрало тебя, парень? Ну, не бойсь, теперь все будет хорошо. Эк ты дрожишь-то.

– Простите меня, простите, – говорил Паша. – Я все вам расскажу.

– Да мы и так уж знаем почти все. Сбил тебя с толку кто-то.

– Нет, я сам сказал одному нашему офицеру, что хотел бы служить в Семеновском полку.

– Отчего бы не хотеть? – резонно заметил Иван. – Полк хороший. Да, вишь

как дело повернулось. Приходится выбирать. Ты садись на Настино. А Настенька ко мне.

– Мы всю дорогу спорили, – тараторила Настя. – А Иван все: погодим да погодим. Нужно время, чтобы в себе разобраться. И подумать только: Аксинья тоже за него. А потом вдруг говорит: Пора! Езжайте. И велела Ивану взять меня с собой.

– Ты к нам в станицу? – спрашивала Настя. – Мы ведь разъедемся потом. Но сперва в станицу. Отдохнуть надо.

– Все в станицу и я с вами, – отозвался счастливый Пашка. – Иван Кириллыч, насовсем к себе меня возьмешь?

– Не торопись, – сказал Иван. – Времени много. Мы сперва думали, коли лазутчик, определить тебя к Гавриле. Но какой с тебя лазутчик, ты сразу показал.

– Повезло тебе, парень, – добавил он, помолчав. – Знал бы я, что Денис Татаринцев сидит в вашей темнице, вторая кружка досталась бы ему. Ну чего ты снова хлюпаешь, как малое дитя? Обиделся?

– Нет, – ответил Паша. – Просто я только что думал, мог бы я ради Дениса жизнью пожертвовать. Очень я его полюбил.

– В этих случаях думать не приходится, – само выходит, – со знанием дела сказал Иван. – А тут судьба распорядилась. Да сержант, гадюка, кувшин разбил. А то хватило бы и на троих.

ПИСЬМО

Дуня лежала под пуховой периной на белоснежных льняных простынях и высоко взбитых подушках. Прислужница Марковна, весьма похожая на старого и крепкого кота, принесла ей липовый отвар и малиновое варенье.

– Эк ты себя измаяла, – говорила она. – От слез распухла – глаз не видно. Ну, а теперь – то успокойся. Он, вишь, сказывают, жив.

– Да как бы узнать – то наверняка, – всхлипнула Дуня. – Он такой замученный, ослаб.

– Ну, Аксинья вылечит, она лекарка знаменитая, – уверенно сказала Марковна, отродясь Аксиньи не выдавшая. – Господи, да кто ж там в такой час стучит? Неужто по твою душу?

Она долго пререкалась в сенях, потом стала отпирать. Дуня замерла. Сердце бешено билось.

– Вставать не надобно. Накинь – ка только телогрею, – сказала Марковна, входя. – Там к тебе какой – то мужичок, письмо принес. И девочка с ним.

– Какая еще девочка? – удивилась Дуня.

– Ну, наверное, дочка его.

Вошел маленький, опрятно одетый мужичок, учтиво поздоровался с Дуней и протянул бумажный свиток, сказав: «От Настасьи Львовны». За спиной его стояла девочка лет десяти.

«Милая Дуняша, пишу наспех, едем быстро. Миша очнулся, – Дуня ахнула тихонько, но продолжала читать. – Аксинья вправила ему руки, но движутся пока слабо, в чем убедишься, прочтя его подпись в конце письма.

Податель сего Федот Чеботарев – верный нам человек. У него в доме жила девочка Наташа, дальняя родственница Миши, который будет zelo благодарен, если ты возьмешь ее к себе сейчас, когда ему невозможно жить в России. Девочка хорошая и по хозяйству поможет и обучена кое–чему.

Все наши тебе кланяются, особенно Михаил. Будем писать тебе при всяком удобном случае.

Обнимаю и целую, милая ты, добрая моя».

На оставшейся половинке листа стояла большая, криво написанная буква «М».

Слезы вновь набежали на глаза Дуни, она вытерла их кружевным платочком.

– Подойди сюда, Наташа, – сказала она. – Что же ты умеешь делать помимо хозяйства?

– Читать, писать. Псалтырь знаю. Рисовать умею. Сложение и вычитание. Умножать и делить. И еще про разные страны.

– Ты много знаешь, – озабоченно проговорила Дуня и подумала: «дьячка придется нанимать». – Кто же тебя всей этой премудрости научил?

– Дяденька Михаил Никитич, – ответила девочка смущенно.

Дуня смотрела на ее хорошенькое грустное личико.

– А вышивать не умеешь?

Девочка покачала головой.

– Ну, я тебя выучу. Пойди, Наташенька ко мне поближе. – Она погладила ее по русской головке. Потом прижала к себе и поцеловала.

– Хочешь жить у меня?

– Спасибо. Хочу.

Вот что ей Господь послал. Как во многих семьях, где муж любит жену, а жена только заботливо к нему относится, дети были к Дуне холодноваты. Жили они отдельно и не очень часто навещали ее.

– А дяденьку Михаила Никитича повидать хочешь?

– Его нельзя повидать. Он уехал, – серьезно сказала Наташа.

– Ну, может, мы с тобой как–нибудь соберемся и сами поедem к нему.

Девочка вдруг обняла ее за шею. Дуня обмерла. На нее доверчиво и ласково глядели серые Мишины глаза.

СОФЬЯ

Темно, холодно, страшно, словно сунули в каменную могилу и сверху придавили каменной плитой. Шевельнуться нет сил. А зачем шевелиться? Ей ведь все запрещено. За порог ступить нельзя. По монастырскому двору пройти – там трава еще зеленая, синее небо над головою, светит осеннее солнышко и

даже слегка пригревает – вчера можно было выйти, теперь – нет. Не нагрянут в гости сестрицы с занимательной и приятной беседой: «Ох, чудит, неслыханно чудит братец!» И угостить их уже нечем – на убогий пост посадили, разносолов из Кремля не принесут. Два раза в год видеть сестер... под строгим приглядом. И не заглянет под видом странницы, Настенька, милая сподвижница и подруга. Любопытные недобрые глазки неотступно следят за всем.

Добрую ее кормилицу Вяземскую забрали в застенки. Четырех постельниц – славные такие были – тоже в пытошную свели. Было при ней двенадцать женщин – Вяземская, девять постельниц, две казначеи, теперь никого. А зачем ей казначеи? Ничего своего не осталось. Даже имени. Была царевна Софья, заключенная в монастырь, нет больше царевны Софьи, есть монахиня Сусанна.

Вот уж чего совсем нельзя – в окна глядеть. В прежних кельях, выглянув в окно, видела она Девичье поле. Нынче повешенных увидит, ближе всех – трое самых преданных и близких. Висят, качаются, в руках бумаги в виде челобитных. Придумал какой-то забавник.

Великое избиение идет по Руси. Мучительные пытки, казни. Она еще не знает, что будет длиться это чуть не до весны и под окнами ее повесят в разные дни 195 человек. Окна – казнь для стропливой сестры. А прочее – не казнь? Не убили, будто бы живая, но ведь лишена всего, что имеет живой человек.

Как бушевала она девять лет назад, когда ее сюда засадили! Жизнь кипела и бурлила в ней. Ей казалось, она задохнется, хотелось выть не своим голосом, колотиться головой о стену. И колотилась, что греха таить, при Вяземской и при постельницах, тех, кого сейчас на пытке истязают. Но молчала, решила твердо: жалоб ее за стеной не услышат. Плакала бесшумно, давясь рыданиями, страшен был этот беззвучный плач и темное от горя, залитое слезами лицо. Но сверкающие мокрые глаза чудом делали его красивым.

Укатали ее монастырские годы. Сидит недвижно.

Глупа она была, что горевала тогда? Не ценила малые радости жизни? Нет, не так. Не про нее эта жизнь с пожалованными Петрушей разносолами.

Она управляла царством. Сперва брату помогала. Федя все хворал, она сидела у его постели, при ней к молодому царю приходили бояре, обсуждали важные дела. Она слушала, училась.

Семь лет правила Русью сама. Выходила без страха к мятежным стрельцким толпам, где так легко проливалась кровь, и умела их уговорить, успокоить.

В чем она ошиблась, что делала не так? Шла путем, что подсказывал разум, а была она великого ума царевна, находчива, изобретательна, отважна. И ясно видела: нет у нее иной поддержки, кроме стрельцов. Их начальники всегда держали ее сторону. Сперва Хованский. Потом Федя Шакловитый.

Федю, Федю – то как жалко, верный мой, бесстрашный. И она – простить себе не может – не уберегла его. Васю любила без памяти, сердце нежностью замирало, хотелось оградить его, защитить. Узницей будучи, сумела переслать ему деньги. Федя сам бросался ее защищать. Бесшабашная головушка, ничего

не боялся, казалось, еще чуть–чуть и он добудет для нее престол. Сложил голову на плахе и осталась на всю жизнь боль. Не отстояла она его – себя спасала.

Горько, грустно, неужели жизнь всегда так жестока и она в этой жестокости участница?

Невесть откуда выплыло слово «потери». Что за потери? Когда они начались?

Была умница–разумница, счастливая девочка. Все ее хвалят и только радость одна впереди.

Тоненькая иголочка проколола сердце. Давнее воспоминание – ее растерянность, недоумение, печаль, когда батюшка привел во дворец вместо недавно умершей маменьки молодую девушку, на пять лет старше Сони. Все говорили, что он хочет сильного наследника. Как наследника, у него ведь столько детей! Детей много, но мальчики все плохого здоровья. Ну и что же? Если кто–нибудь из ее братьев, заняв престол, будет хворать, она поможет, она ведь умная девочка и учится хорошо и здоровья крепкого. Византийская царевна Пульхерия помогала править брату много лет.

Всякий раз, когда она ловила обращенный на мачеху влюбленный взгляд отца, ей становилось больно. Она не знала еще тогда, что это называется ревность. Как легко забыл матушку, такую добрую, умную, кроткую, а порой казалось, он отдалился от детей.

Соня пробовала подружиться с Натальей Кирилловной, но ничего не вышло. С ней было холодно и скучно, невзирая на удивительную ее красоту. Почему–то Сонечке хотелось, чтобы мачеха родила дочку. А родился этот Петя, и батюшка от радости чуть с ума не сошел. Соня решила, что ей непременно надо полюбить младшего братца, но он был какой–то противный. Топал ножками, здоровенный, как бычок, мычал, бурчал, потом внезапно начинал орать и по полу кататься. А уж у кормилиц–то задержался, чуть не до трех лет. Наталья Кирилловна не подпускала ее к Пете, да по правде говоря, и Сонечкино сердце к ним не лежало.

Полюбить младшего братца она не сумела. Но ей было его жаль.

Мальчик больной, упрямый, странный. Сперва смотрел на нее букой, потом горящими от гнева глазами. Откуда мысль такая – больной мальчик? Разве он слабенький, жалкий? Сотни людей замучил пытками. Сам любит своими руками пытать. Потом приходит из застенка, упившись, и сидит в темноте.

Совсем маленьким мальчонкой в Коломенском топтал лягушек и радостно смеялся, что они лопаются с треском. Софья не выдержала, сказала, что и лягушка Божья тварь. Он посмотрел на нее гневно, потом засмеялся и раздавил большую раздутую лягушку.

Какой же он несчастный и больной? Да он из горла вырвет, если загорелось. И возражения не терпит.

Это вот и есть болезнь. Сильные, разумные люди слушают доводы друг друга. Их возможно убедить. Его нельзя. Может, и слушается кого из своих озорников иноземцев, но у них в сапогах копытца и хвостики из–под камзолов

торчат.

Его зовут антихристом в народе. Нет, он не антихрист. Мудрая, наблюдательная царевна видит его сызмалу и наверно лучше понимает, чем эта курица Наталья. Он не антихрист, но темные силы так и кружат вокруг него.

Скверный, больной мальчик, гонимый темными силами. Рвется в бой, препон не ведает. Стрелецкое войско, опору державы, сильное, обученное войско, одним махом под корень срубил.

Господи, да ведь в царском деле каждый шаг обдумывать надо. Видишь, не получается, иди в обход. Этот прет, как медведь. Все вперед, да поскорее. Он не глуп, но у него желание впереди разума бежит.

Вот и бросается во все стороны сразу. Вынь да положь ему и войско по иноземному образцу, и корабли в холодном море, и чтоб все переоделись и обстриглись в одночасье, и Европу военной славой удивить.

Он добьется, будет ему слава. Станет это матушке России такой ценой, как Смута сто лет назад. Выжмет досуха и в могилу целые толпы уложит.

А ведь ему не жаль.

Все гневается: буен народ, своеволен. А сам каков? Жмет да жмет железной рукою. Глядишь, и переделает. Немцов из нас не выйдет. Но и удали уже той не будет – запуганный станет народ, согбенный. Ловчить, небось, начнут и лгать, покалеченные души.

Извести нас не раз хотели. Но он первый на русскую суть замахнулся, первым взялся перекраивать народ. Кого плахой, кого налогом, а кого и наградой. Все это делали и до него. Только не было на свете человека со столь могучей силой желаний.

Он первый... Она первая. Первая женщина на престоле. И она умеет. Знает. Как же могли они не стать врагами? С самого начала – или он, или она. И ничего себя корить. Он всегда этого добивался – упрятать в монастырь «зазорное лицо». И упрятал в каменный мешок.

Нынче вечером слыхала – сестрички–чернички говорили меж собой: когда вели стрельцов на казнь, шайка разбойников похитила двух осужденных: полковника и с ним какого–то молодого стрельца. Софья сразу поняла, что за полковник. Свежим ветром пахнуло. Значит, были они тут, и Настя и Иван. И в темницу пробрались и спасли друга.

К ней даже записку передать не сумели. Крепко братец затянул мешок.

А началось все с того, что батюшка привел в Кремль молодую жену.

И счастливой девочке Соне выпали в жизни большие потери. Утратила царство, свободу, любовь. И последнюю надежду – стрелецкую буйную силу.

Стоит ли огорчаться, что не будут больше присылать из Кремля сдобных саек и рыбку? И не сможет она угощать сестер?

Малые радости. Нет, совсем это не пустое. Без малых радостей кончается жизнь. Вот пришло бы к ней письмецо с воли и посветлело бы все вокруг.

А ведь чуть было его не одолела – перебежчики сгубили все.

И тут ее охватил страшный гнев. Не на Петра, который ей представлялся неким стихийным бедствием, вроде чумы. Затрясло ее при мысли о стрельцах—перебежчиках, о боярах, что один за другим перетекали из Москвы в Преображенское. Обыкновенные, неглупые люди. Что ж они не видели, какую беду несет их дурацкое, косное убеждение, что на престоле должен сидеть царь крутого нрава и мужеска пола?

Видят, знают, ей передавали, даже среди его соратников говорят: хорошо, мол, правила царевна Софья, лучше мужчин, все дела в державе ведала.

И отчего ей выпала судьба быть первой? Да теперь после нее любая дура легко займет престол. Только ей не пришлось. А ведь создал ее Господь великой русской царицей. Она упала лицом на лежанку, и тело ее сотрясалось от плача, горького плача о несбывшейся судьбе.

ПЕТР

Петр сидел на деревянном стуле в мастерской, счастливый, довольный, усталый. Он даже не чувствовал сегодня той обычной гнуса, что сопровождала его расправы. Сегодня его день — он уничтожил врага. И сестру запрятал так, что выйдет только на погост, и стрельцов больше на Руси не будет.

Вчера он заговорился и упустил нежданную гостью. Но сегодня он такое дело совершил. «Разом надо, только разом!» — думал он, ликуя.

«Разом! Разом!» — тикали часы.

Неожиданно темную мастерскую заполнила бесшумная толпа. Луна ярко осветила комнату, и Петр увидел знакомые лица. Сегодня утром они были живы, сейчас их нет среди живых.

Но они пришли к нему и не стоят на месте, перемещаются, подходят вплотную и отходят, уступая место другим. Скользят, как тени — ни шороха, ни звука. Кровью и потом от них не разит. И все же это люди, а не тени. Он ясно видит их точно такими, какими видел за мгновение до смерти.

Молодой стрелец с веревкой на шее смотрит не на царя, чьею волею его лишают жизни, а куда—то мимо. Петр проследил тогда его взгляд — он смотрел на молодую женщину с младенцем на руках, наверное жена его с дитятей. Высокая, пригожая, она молча глядела на мужа, и слезы струились по ее лицу.

Вон какой—то кряжистый, обветренный и загорелый, старательно поправляет крестик на белой шее.

Старый сотник Ярошецкий — почему он смотрел на государя с жалостью? Он и сейчас, приблизившись на миг, взглянул на него с той же оскорбительной, сочувственной печалью.

И так же дерзки и насмешливы были зеленые глаза связанного с ним одной цепью Дениса.

Петр и не знал, как много он запомнил лиц. Простые мужики и московские знатные люди.

Мало кто глядел на него с надеждой — вдруг помилует.

Даже сержант, верный пес Ромодановского, нагло отчитал их за то, что не ценят верность.

А нелепый добряк Белоус и вовсе удивил — чего ради, когда топор уже над ним поднят, появилась на его круглой роже неуместная, блаженная улыбка?

Странный, непонятный, чуждый народ вел себя строптиво, помирал дерзко.

Они наверно хорошо воюют, мелькнула неожиданная мысль. И тут же поправил себя: воевали. Сколько лет оно было — стрелецкое войско? Да пожалуй двести, даже больше, только их раньше по—другому называли.

Они уйдут, они уже ушли, в последний раз к нему явились показаться. Не пожалеет ли, что сгубил таких молодцов? Не уймется ли, не пощадит ли тех, кто еще в темнице?

Нет, не пожалеет, не уймется, не пощадит. Они враги, они чужие, он заменит их другими, послушными, обученными на европейский образец, и его друзья больше не будут дивиться, что у столь разумного царя, как Питер, такая своевольная, непокорная рать.

Почти как казаки. Казаков все боятся, вот уж воистину отчаянная орда и воюют без всяких правил. Он вдруг вспомнил, что казачий атаман увел у него нынче двух приговоренных.

А потом, совсем уж непонятно как, ему припомнилось, что атаман этот впервые посадил его на коня. Маменька охала и волновалась, а трехлетний Петруша не испугался, он яростно вцепился в гриву неоседланного казацкого коня, а атаман шел рядом, спокойный, надежный.

С этим народом, с казаками и стрельцами можно не бояться ничего. Но беда в том, что их самих приходится бояться. Он испытал это уже не раз.

Десятилетним мальчиком стоял он на Красном крыльце перед буйной толпой. Стрельцы сбросили на копья Матвеева и Долгорукого. А потом ворвались во дворец.

Семь лет спустя в Преображенском он ночью выскочил из спальни, бросился в рощу и сидел в кустах, дрожа, насмерть перепуганный, босой, раздетый.

Софья их не боялась, стрелецкая царица. Они были для нее свои и хотели, чтоб она правила ими. Для нее свои, а для него чужие. И она чужая, смертный враг. Но вот он победил их наконец. И Софью и ее бунтарское войско.

Они глядели на него так же насмешливо и дерзко. Чему радуешься? Свой народ одолел?

Да, он рад, что одолел их, а не они его. А народу на Руси много, можно еще черпать и черпать и вершить великие дела.

Только бы эти ушли наконец. Смотрят без боязни, ходят с гордо поднятыми головами. Что ты сделал? Выбрал из народа самых сильных, смелых, достойных и убил их? Какой же ты царь?

Он великий царь. Оставшиеся называли его Великим. Так и называют до сих пор...

Николай ЗИНОВЬЕВ

«Скоро явится Мессия...»

Убогие, ветхие кровли.
Плывущий, касаясь земли,
Печальный закат цвета крови
Расстрелянной царской семьи.

Откуда сравнение это?
Не знаю природы его.
С того оно, с этого ль света?
Оставим вопрос без ответа.
Но знайте, что в строчках поэта
Случайного нет ничего.

Ты меня безрассудным не числи,
И безумие мне не пророчь,
Если поиск спасительной мысли
Занимает и день мой, и ночь.

... Ночь глядит сквозь квадратики стёкол.
Полетав со звезды на звезду,
Мысль, как на руку ловчего сокол,
Возвращается снова к Христу.

Накатило. Опять накатило.
Кровь пульсирует в яблоках глаз.
Богатырская страшная сила
Из душевных глубин поднялась.

Вырвал с корнем я дуб у дороги,
Ну, всей нечисти дам я раза!
Нечисть тут же мне рухнула в ноги
И... проснувшись, открыл я глаза.

А в глазах вопрос простой:
«Вещий сон или пустой?»

ДИТЯ И НЯНЬКИ

Он давно не видел пряник,
Всё то кнут ему, то – клеть.
Много терпит он от нянек.
Не пора ли повзрослеть?

Стать умней, ну хоть немного,
Чтоб понять, где друг, где плут?
Ради жизни, ради Бога.
Тщетно. Няньки не дают.

И в том, что зла вокруг без меры,
И что вокруг без меры тьмы,
Виновны только малoverы,
И малoverы эти – мы!

На что мы, собственно, готовы,
Коль нет сил выдержать поста?
Застанет нас вопрос Христа
Врасплох, когда Он спросит: «Кто вы?»

И мы, поднять не смея глаз,
Услышим: «Я не знаю вас».
И станем локти мы кусать,
А дальше... не хочу писать.

Наше время – время крови,
Дышат злобой наши дни.
Ничего не слышу, кроме
Визга жуткого: «Распни!»

Тонет в сумерках Россия,
Свет струит лишь тень Креста.
Скоро явится Мессия,
Всё расставит на места.

Валерий ДАШЕВСКИЙ

САМОЗАЩИТА*Посвящаю матери*

Когда весть докатилась до К., до школы Янзоборо, до скупо освещенного зала, до ритуального молчания, в котором проходил конец занятий, он, Верзин, сидел на пятках, между лежавшими на коленях кулаками глядя в пустой татами; он знал, что не потерял лицо – только это и заботило его в ту минуту, маленькую вечность; его обязанности в миссии, его разведывательная служба в последний год свелись к работе добросовестного канцеляриста; письма жены в миссию придавали трогательную, пряную прелесть полузабытому голосу родины – то явственней, то глуше звучавшей ностальгической мелодии старого романса; только здесь в монастырской школе японца с непробиваемым безбровым лицом (его дочери он подарил дорогое, серебром расшитое хибати не потому что девушка нравилась ему – его вполне устраивали гейши в квартале, куда он изредка ездил с другими офицерами миссии, а оттого, что дом Янзоборо – циновки, ширмы, бумажные фонари – занял место, какое прежде занимала его квартира с темной мебелью, с маятником, плававшим за стеклами часов, с видом на разводной мост, на воды Невы, подернутые рябью – такими они помнились, такими хранились в памяти, как в овальном паспорту с затейливой виньеткой), только здесь в часы вечернего безмолвия он не слышал голоса родины; теперь, сидя также прямо, как остальные борцы, как и они сосредоточенно–отрешенный, похожий на них так, словно его и японцев в черных кимоно роднило куда более тесное, нежели кровное – родство мужества действия и терпения, чьи каноны стали вехами высшей свободы духа, абсолютного мужества, не знающего ни сомнений, ни страха, ни возраста, ибо в сознании поколений существовали независимо от того, были или не были открыты; открытые, они напоминали реликт: остов скелета в скале, остров, чья неизведанная земля древней морского пути и земли изведанной, обжитой, и уж давно древней человеческого родства и пути познания, – он уже знал: весть, выкрикнутая босоногим мальчишкой с улицы, сделала его изгоем, и отныне он не может оставаться среди японцев, чинно сидевших по краям татами, потому что не может хранить достоинство иноземца, каким, несмотря на достигнутые пункты мастерства, оставался девять лет; ныне открывшийся ему путь был путем в прошлое, которое все эти годы жило само по себе, становясь приветливым, неузнаваемым и – непредсказуемым; наперед, сжигая в камине с изразцами

документы особой секретности, сведения, по крупицам добытые им в тайных экспедициях, из газет, в портовых притонах, на приемах в честь сиятельных особ и генералитета, где неосторожное слово по–прежнему расценивалось в тысячи солдатских жизней, где реял призрак недавнего кровопролития, где японки выступали в европейских туалетах, а кухня была пародией на русскую, где сам он был офицером с тонкой ниточкой усов над твердым ртом и взглядом, в котором, как в подернутых пеплом углях, не разгораясь, тлел ледяной огонь ума и несгибаемой воли, чья природа требовала от него послушничества в школе Янзоборо и поединков – тигриной гибкости, пронзительного крика – наперед, меряя шагами каминец, с высокого борта махнув фуражкой Янзоборо и его дочери – игрушечным фигуркам под игрушечными зонтиками в золотистом мреении портовых огней, вечерами сидя в кают–компании, за столом, покрытым белоснежным столовым бельем, перед серебряным столовым прибором и хрустальным бокалом или на брезенте зачехленного орудия, чьими снарядами поджарые офицеры флота Ее Величества обещали седоволосому русскому атташе вернуть прошлое, а ему – жену с узлом русых волос, тонким затылком и у висков оттенком ботичеллиевой бледности, коричневой бледности, вот, собственно, все, что он помнил о ней, что хотел вернуть, что мог, – наперед он знал: остальное невозвратно, знал также определенно, как не знал другое: должен ли он, пусть против воли, участвовать в обреченной попытке вернуть прошлое или нет; разведчик, сведущий в тончайших нюансах и изворотах политики, а значит и самой истории, он, как бы оценивая шансы на победу в поединке, последовательно взвесил неизбежность хаоса, братоубийственной распри, интервенции, сквозь легкий дымок японской папиросы вглядываясь серо–стальными глазами в забрезжившую дымку неотвратимого берега – взвесил и, раз навсегда определив степень своего участия, спокойно сошел на пристань в А., в зиму, как бы материализованную памятью: как бы памятью выслана была поэмка у крыльца комендатуры, сотканы тик и плюш гостиницы, чернильный прибор, рисунок изморози на оконном стекле, зал ресторана, где в папиросном дыму громогласно насаждались и свергались химерические правительства и утверждались утопические планы; память – к ней он обращался всякий раз, твердым почерком надписывая один и тот же адрес на письмах, неделя за неделей остававшихся без ответа, как в вечности растворявшихся в морозной синеве; к ней он обратился, когда на бирже купил у проходимца четыре фальшивых паспорта и вышел из гостиницы с одним–единственным саквояжем в красной от мороза руке, а потом просидел пять суток у вагонного окна, из–под полей широкополой шляпы с широкой атласной лентой глядя, как на пути на запад зима стремительно превращается в весну; но у С., где он спрыгнул с поезда, чтобы избежать проверки документов, она напомнила осень – те же красные овраги, та же палая листва, запрудившая ручей, тот же мираж, подсказанный памятью – памятью – в С., квартирантом сгорбленной, нелюдимой старухи он внезапно понял это – ставшей его врагом, мучительницей: с

правдоподобием несбыточной, немислимо желанной грезы память являла ему былые дни, два взаимоисключающих, одинаково манящих видения: зал в К., татами, неяркий внешний свет и ярчайший внутренний, в озарении которого, в абсолютном слиянии духа и сил он одерживал легендарные победы и чудесный белый флер гардины, нежный волнующий профиль жены, ее точеный силуэт, тенью скользящий перед его воображением, между тем, как письма оставались без ответа, между тем, как день за днем, час за часом неумолимо свершалось то, что он провидел, рассмотрел в прозрачной дымке, застилавшей родные берега; невозмутимый, почти равнодушный к слякоти и грязи, к кровопролитию за мутными оконцами старухино дома, к молитвам, выкрикиваемыми ею из погреба во время канонады, когда сам он с револьвером в руке вжимался в простенок и смотрел, как с потолка хлопьями сыплется штукатурка при каждом взрыве, каждом попадании – в дом напротив, в церквушку, в соседские сараи, только не в беленую мазанку под рыжей соломой, словно стихийная сила, крушившая все кругом, была с ним в сговоре, на им обоим ведомом условии не трогала его, не посягала на него, как треск винтовочных выстрелов у щербленной стены, оставшейся от здания вокзала, где люди в солдатских шинелях расстреливали людей в офицерских, а потом – наоборот, где он сам был на волосок от того, чтобы быть расстрелянным и теми, и другими, и вместе с тем великолепно защищен от этого, потому что, как монах, был не нужен ни тем, ни другим, как мертвец, не опасен; на этот раз без саквояжа – единственная пара нательного белья была на нем, при нем – письма жены в миссию, револьвер и документы – он ехал в Х., в переполненной теплушке, с людьми, не желавшими ни воевать, ни умирать и готовыми хоть на край света бежать от тифа и стрельбы, и другими, готовыми отдать жизнь за прошлое, от которого он отрекся; переодетый, как и он, офицер, что и он, участник далекой и короткой войны, узнал его – он убедил офицера, что тот обознался, откланявшись ему с холодной учтивостью, на какую употребил всю свою выдержку, потому что впервые за столько лет мог узнать что-нибудь о жене, но при этом погибнуть: к тому времени он верил, знал: сила, которая доньше оберегала его с той же неукоснительностью, с какой не щадила других, не пощадит и его, если он сделает один неосторожный жест, скажет одно необдуманное слово – таков был уговор, мысленно подписанный им еще на английском эсминце; в Х. он снял комнату, решительно ни чем не отличавшуюся от комнаты в С.; на ничем не примечательной окраине, но облик города был иным, чем в С.; здесь спешили жить, здесь театры давали представления, здесь по бульварам дефелировали дамы, здесь заключали сделки, здесь прилизанный конферансье пел куплеты в кафе-шантане, и вскоре неподалеку от набережной появилась вывеска «ЯПОНСКАЯ БОРЬБА ОБУЧЕНИЕ ГГ ОФИЦЕРОВ И МОЛОДЕЖИ», а сам он стоял, сложив руки на груди, в кимоно, сшитом по его указаниям евреем-портным, перед набитыми соломой тюфяками, в зале, бывшем карикатурой на зал Янзоборо, на мир его памяти – все здесь было карикатурой: пыхтящие ученики, их возня на тюфяках (вопреки его

стараниям преподать им основы мастерства, а их возне придать видимость ученичества), но вот сам он был настоящий, в этом ни у кого не возникало сомнений, ибо одного взгляда было довольно, чтобы понять, что этот человек — без прошлого, как иноземный фокусник, как владелец кафе—шантана, чье прошлое с одинаковым успехом могло быть прошлым повара и прошлым палача; он представлялся им некоей разновидностью гувернера, чем—то сродни крупье, учителю фехтования и верховой езды, но даже это качество было условным в том мире — недолговечном, эфемерном, потрясаемом сводками с фронта — условным, потому что непроницаем и тверд оставался его взгляд, потому что люди, переступавшие порог бывшей парикмахерской, сами того не ведая, тщились приобщиться не к искусству боя без оружия, а к самой тайне, к непостижимому, как колдовство, и потому бесценному секрету спокойствия этого человека, с равнодушием тигра наблюдавшего за ними из—под тяжелых век, не зная и не подозревая, что в такие минуты в душу его проникают проблески света, неединожды виденного им в поединках в К., не догадываясь, что он как и прежде холит и изнуряет свое тело, будто в предверии поединка, который не только не мог состояться, но который невозможно было представить в Х., запруженном отступавшими войсками, и что оттуда берется кошачья мягкость его шага, апокалипсическое спокойствие в его глазах, не понимая, что заставляет их предлагать ему свои услуги и свои автомобили для отступления на полуостров; и он не отступил как прежде, в С., он выждал, пока они сдадут город, пока смолкнут орудийные залпы и уличная стрельба; на пятый день прийдя на набережную, он увидел следы сапог на своей вывеске, валявшейся среди стреляных гильз и битого стекла, и, глядя как на подводах развозят убитых, он понял, что пройдет еще немало дней прежде, чем, замазав краской «ГГ ОФИЦЕРОВ», он сможет водворить вывеску на место, и в этом будет хоть какой—то смысл, и что его настоящий враг не память, а время — время, продержавшее его год в А., два — в С., два — в Х., принудившее его ценой невмешательства купить жизнь и эту минуту на разрушенной, разграбленной улице, это оно делало все кругом неузнаваемым, чужим, а значит и враждебным; и, стоя над истоптанной вывеской, совсем как пять лет назад, глядя в камин, в котором пламя пожирало плоды его девятилетнего труда, он понял, что вновь поставлен перед выбором, что мирные вечера, белый флер, нежный профиль можно вернуть ценой компромисса, ценой того, что он предложит победителям то, чего не предложил побежденным — военный опыт и знание чужой страны; и также, как на английском эсминце, приняв решение, он поехал в М. в товарном вагоне, на крыше и в угольных ящиках которого ютились люди, и который той же ночью был остановлен бандитами в степи, точно безымянной и беспощадной силе вздумалось нарушить их многолетний, неукоснительно соблюдаемый обоими договор, и в свою очередь нарушив его, он среди общей паники и беспорядочной стрельбы убил обыскивавшего его бандита в свитке и лохматой шапке, отполз от насыпи и пошел по степи, ориентируясь по звездам на северо—запад, совсем

как четыре года назад — на юг, дивясь тому, что все уже было, было; но в М., неузнаваемой М., столице нового времени, чью враждебность он в те дни был готов расценить, как равнодушие, если не дружелюбие, он скорее почувствовал, чем понял, что его непредсказуемая родина еще не вполне представляет, как именно будет жить, и быть может ему не придется отречься от прошлого — от себя, в прошлом сидящего на брезенте зачехленной орудийной башни, и ничто не заставит его раскаиваться в прошлых победах, и никто не дерзнет унижить его гордость, такую глубинную, что даже формальный отчет в принятых решениях, поступках совершенных и несовершенных был бы для него унижением, и новая вывеска «ЯПОНСКАЯ БОРЬБА ОБУЧЕНИЕ МОЛОДЕЖИ» избавит его от извозчицких рукавиц, сапожничьих ножа и дратвы, куртки кельнера, камня точильщика, лотка разносчика, позволит ему перенести из эпохи в эпоху зал в К. и свое боевое искусство — здесь, в М., не знавшей о пути познания даже понаслышке, он с полным правом так считал; и словно в подтверждение обуревавшим его предчувствиям он получил письмо от жены; и в этот день он бродил по городу, омытому недавним ливнем, как гимназист, как очарованный влюбленный, потому что долгожданной явью стал сон прошлого; и в этом сбывшемся сне он встретил жену на грязном перроне и стоял, обняв ее за плечи, пока перрон не опустел, а потом повел ее, осторожно обходя с нею черные лужи с отраженным в них серым небом, бережно, но крепко придерживая ее за локоть, боясь, что она исчезнет как видение; и вновь обратясь к прошлому, он набил соломой и утоптал новые тюфяки, с помощью жены написал новую вывеску и подыскал подходящий зал — помещение бывшей аптеки — и теперь все было готово, чтобы вернуть ему прежний мир, где истина заключена была в иероглифе, где беседы с учителем о природе цветка и огня, ветра и камня, о когтях зверя, клюве птицы и взгляде змеи открывали природу борьбы, и это родство с материей мира было лишь вехой на пути познания, на пути к внутреннему свету, который он узнал; все было готово; и только тогда, из вечера в вечер глядя через пространство татами на входную дверь, он с запозданием понял, что снова зависит не от него, а от времени: от смущавшихся молодых рабочих, от напояженных франтов с холеными ногтями, от темных негодяев со следами ночных походов на лицах (его не занимало, ради чего они приходят — ради уверенности в себе, физической силы, приемов боя, способных вооружить бандита безоружного лучше вооруженного в тускло подсвеченном фонарями мирке ко всему равнодушных подворотен); время продолжало оставаться врагом, ибо — теперь он осознал и это — годы, если не десятилетия, пройдут прежде, чем он сумеет научить немногих своему мышлению и языку и повести их путем познания; и все же он надеялся; все же каждый вечер стоял, скрестив руки на груди, вглядываясь в дверной проем и выжидая, кого еще судьба приведет к нему; и однажды морозным вечером в зал вошли двое мужчин и предложили ему пройти к черным гляncем отливавшему автомобилю, а затем по заставленным скамьями коридорам провели его к обитой дерматином двери —

и в кабинете с письменным столом, кожаным диваном и сейфом, в овале света от настольной лампы он увидел точно из праха и темени времен исторгнутое «Личное дело капитана Верзина», и человек, чьи пальцы сцеплены были поверх вылинявших на папке завитушек канцеляриста, предложил ему сесть, а сам поднялся и, прохаживаясь из угла в угол, языком военного изложил ему свое дело, звучавшее скорее как ультиматум, нежели просьба, потом отпер сейф и, очистив стол от бумаг, разложил на нем целую коллекцию оружия, изъятого у преступников, а рядом бросил пачку фотографий — на первой был молодой сотрудник, заколотый ножом; а он, Верзин, смотрел на снимок словно с другого конца вечности, в пересчете на которую все, что он услышал здесь, все, что увидел, было не более, чем буквой в летописи человечества, а человек перед ним — персонификацией времени, нуждавшемся в нем точно также, как столетие назад — в безвестном докторе, вооружившим своим дзю-до японскую полицию; и также, как доктор, видя в сложившейся коллизии руку самой судьбы, не цель, но способ легализации своего боевого искусства вопреки иным, чьи робкие ростки он не только провидел, но и замечал, бродя по толкучему рынку и в хламе букинистов находя брошюры со сводами приемов у-шу, джиу-джитсу, айки-до, он дал согласие; и наутро из черного автомобиля просматривал стремительно, как в кинематографе, менявшиеся картины зимнего города, высматривая фасад подходящего особняка или усадьбы, и найдя его — гордое уединение, нагие деревья — был поражен, узнав, что под школу может получить только флигель, потому что в самом здании разместился детский дом, поражен, потому что аскетизм, сиротство, одиночество отождествлялось в его сознании с природой борьбы, боя; он отдал сопровождающему его свое кимоно и за два дня пошиты были из армейского сукна четырнадцать таких же; в них предстали перед ним в непротопленном зале четырнадцать мужчин возрастом от двадцати до сорока — но ничего не значил возраст, все они были равны друг перед другом, потому что одинаково рисковали жизнью, потому что судьба каждого могла стать сюжетом для баллады, потому что их глаза видели все — и страх, и смерть — а теперь смотрели ему в лицо с недоверием и негодованием, ибо каждый с первого взгляда распознал в нем человека с чужим, если не враждебным прошлым; и склоняя их к повиновению, он заставил их снова и снова повторять поклон залу, ритуал приветствия наставника и взаимного приветствия, а на следующий день в кабинете за дерматиновой дверью выслушал новый ультиматум: ему надлежит обучать этих людей самому необходимому для задержания преступников — и только; и с презрительным молчанием — молчанием человека, которому отказано в выборе, он выслушал, чего хочет от него время — выслушал и вернулся в зал, и три последующих года присматривался к ним, обучая отдельным ударами, отдельным захватами, отдельными бросками, что было равносильно обучению фортепьянным пассажам без прояснения гармонии в целом; но он не мстил; он делал то, что требовали, не принижая свое боевое искусство, не навязывая его, не расставаясь с надеждой, что кто-нибудь из них, неважно который, догадается,

почувствует, что за отдельными приемами стоит целый мир, необозримый как само человеческое прошлое, как дольные снега у подножья великой вершины; он знал этот путь; и если бы кто—нибудь спросил, кто—нибудь задержался в зале, как под тем или иным предлогом задерживался он сам, он повел бы этим путем одного; не зная и не подозревая, что вот уже полгода они сами всякий раз ожидают, пока он уйдет, пока вдалеке прогремывает конка, чтобы самим изучать приемы, названные им «защитой», сочетавшие два качества — доступность и простоту, что и требовалось им для выполнения служебных заданий, дабы избежать риска там, где неверное движение могло стоить жизни — в той реальной жизни, которой они жили, которой жила страна, которой он противопоставил подобие прошлого; и он узнал об этом не случайно, хотя вполне мог забыть шляпу или трость и вернуться за ней; как—то раз проводя занятие, он внезапно увидел, что они делают то, чему он не только не учил их — чему никогда не дал бы себе труда, таким примитивным, возмутительно нелепым показалось ему то, что он увидел, но смятения не было — факт предстал перед ним, как долго ускользавшая самоочевидность, как закономерное подтверждение тому, о чем он подсознательно догадывался давным—давно; и не подавая вида, он стал наблюдать за ними, неделя за неделей понимая, что есть некто, обучающий их в тайне от него, нашедший с ними общий язык, общую цель раньше него, и знал, что рано или поздно человек этот придет, появится; и ничего кроме странного недоброго удовлетворения не испытав, когда порог его зала переступил мужчина с орденом на гимнастерке и пороховым ожогом на щеке (с одного взгляда ему стало ясно, что этот человек — человек своего времени, что день за днем, шаг за шагом человек этот прошел все пути, которых сам он избежал, встретил все, от чего сам он уклонился), он распустил учеников и запер зал, потом сел к нему спиной в углу татами; раздвинув колени и положив на них кулаки, он ждал; и понемногу померк скупой электрический свет, и из глубин памяти раздалось протяжное пение сродни крику муэдзина на заре, песне дервиша, и ковер между его коленями стал темным колодцем, на дне которого, на удаленной темной воде плавало пятнышко света — считая удары сердца, он всматривался в него, пока оно не приблизилось, пока, последовательно расширяясь, не заполнило все кругом, не запылало нестерпимо ярко, а тогда он, наконец, услышал тончайший звон, с каким разбивается хрусталь или раскалывается лед, и поднялся, и будто дирижируя этим перезвоном, ладонями вверх развел руки и бесшумно, как тигр, заскользил вокруг своего врага, в перемещении подчиняясь этой рваной, ускользающей от внутреннего слуха мелодии, и чем тоньше, пронзительней становилась она, тем ослепительней, безжалостней сокращалась точка, белым огнем горевшая в его сознании, и теперь глаза его жили отдельно, тело само распорядилось собой, потому что он освободил его для борьбы, для боя без правил — ведь противник не соблюдал правил, не потому, что не знал или не мог соблюдать правил, а оттого, что в повседневности, в которой он служил матросом, кавалеристом, сыщиком, они

были иные, у каждого — свои; и потому в этом бою не надо было себя останавливать, подчиняться себе, как прежде в К. он подчинялся наставникам, вольным приостановить и даже прекратить поединок; теперь и поединок был иным, долгим как сама жизнь и столь же скоротечным, и он освободил тело, предоставив ему делать все, что оно помнило, знало, дав каждому мускулу, каждому хрящу разрядиться от дремавшей в них первобытной энергии, просыпавшейся лишь в минуты смертельной опасности и тогда неукротимой как сама человеческая воля, дав им стать мускулами и хрящами зверя, которого разум смирял в нем от рождения и впредь будет смирять до смертного часа; но сейчас разум парил вне его, обращаясь к нему только когда горло противника было намертво схваченным в перекрестье рук — и он распускал хватку, чтобы дать тому дышать, сопротивляться; когда противник был повержен, подмят, чтобы дать ему возможность подняться; и так до тех пор, пока тот хотел этого, пока мог; а потом, когда все было кончено, когда погасла сверкающая точка, когда хрустальная мелодия ушла, он мягко прошелся по ковру, и все еще ходили ходуном его бока, все еще клочкотало в груди, когда он убедился, что противник не может подняться; и тогда, не проронив ни слова, он прошел в боковую кафелем облицованную комнату, распоясал и снял с себя кимоно, облился из ведра, как делал это всегда после конца занятий, затем облачился в костюм—тройку, пристегнул целлулоидный воротничок — даже в мелочах он оставался верен прошлому — и вышел на осенний ветер, оставив настежь открытой дверь, не забыв запереть, а бросив, зная, что уже никогда не вернется сюда, зная цену своей победе: если прежде он был здесь чужим, отныне он стал чужим вдвойне, ибо, как ни странно, поражение сроднило бы его со временем, смирило бы, поставило бы в один ряд с другими людьми, среди которых он жил, не пытаясь ужиться, тогда как победа сделала его вдвойне непреклонным, вдвойне одиноким; он сложил с себя обязанности инструктора; и минуло несколько недель прежде, чем, прогуливаясь с женой по бульвару — в ту осень его жена была красива неброской, благородной, последней красотой — он подумал, что потерпел поражение в ином поединке, что скоро не сможет представлять свое боевое искусство, что умрет вместе с ним, потому что оно — в прошлом, и он сам не дал ему будущего; и снова потеряв покой, он стал отправляться на прогулки в одиночестве, и бредя по аллеям, припорошенным первым снегом, снова и снова обращаясь к прошлому, всматриваться в прошлое, как некогда в полосу сизого тумана у входа в зал, стараясь понять, в чем он ошибся, разглядеть то, чего не заметил, мимо чего прошел; пока, наконец, не увидел призрак усадьбы, но не флигель и не зал, где потерпел поражение, а парадное крыльцо и стремглав мчавшихся к нему ребяташек; и вызвав в памяти это видение, он присел на скамейку и закурил от волнения, а потом поспешил домой, потому что с этой минуты каждый день, каждый час имели значение: с этой минуты поединок шел на дни и на часы — именно так, как боролось с ним время — и для последней схватки он получил на стадионе просторный и чистый зал и начал с того, с чего

следовало начать, по меньшей мере, три года назад, и примирился с мыслью, что пройдут еще семь лет, пока подростки, которых он взял в ученики, вырастут, возмужают и пойдут указанным им путем познания; он, не имевший собственных детей, чувствовал себя их отцом, внешне сохраняя беспристрастную суровость; с ними он мог говорить понятиями, какими не стал бы говорить со взрослыми – такими чужеродными, абстрактными были они вне зала, в действительности, какую он знал и не хотел замечать; тем яростней было его недоумение, тем пронзительней отчаяние, когда в руки ему попала брошюра со сводом приемов «защиты», сперва одна, потом вторая и третья – самоочевидные знаменья времени, как парады физкультурников на площадях, как бело–голубое знамя спортивного общества, которое атлет нес впереди шеренг; и если бы он умел просить, если б ему даровано было умение ладить с людьми и временем, он попросил бы об отсрочке: один–единственный раз подождать, пока кому–нибудь из его мальчиков сравняется двадцать, пока кто–нибудь из них постигнет мастерство настолько, что сумеет отстоять его боевое искусство, как прежде отстоял бы оно сам; но он знал: время не станет ждать, оно отомстит ему за то, что столько лет он был ему врагом и за столько лет оно его не одолело; и ни страха, ни горечи, а лишь одно облегчение от поражения, избавления от многолетнего бремени испытал он, прочитав в газете, что борцы – не его школы – демонстрировали маршалу возможности борьбы; а потом, одну за другой, закрыли секции джиу–джитсу, американской вольной и его собственную, и снова он не ощутил ни страха, ни горечи, потому что к тому времени утратил счет дням и часам; теперь счет велся по–другому и сам поединок на то, какие поражения он сможет выдержать, против чего устоять; и о времени он думал теперь по–другому, и хотя ни разу не пытался облечь свою мысль в слова, прозвучали б они так, если б ему пришлось высказаться: мужчина мстит раз, а время – бессечно, без конца, время – тоже женского рода, как судьба или память; и в тот последний год вынужденного безделья, унижительного бездействия, на которое его обрекло последнее поражение, он полной мерой стал жить памятью: настоящее прошлое слились для него в некоей созерцательной протрации, где картины минувшего, как в калейдоскопе, складывались в новые узоры причудливых и далеких воспоминаний: и он не заметил, как полюбил ночь – сумерки, а потом и ночь, саму стихию ночи, темноты, одинаково приветливой, неизменно безмолвной: все приметы времени растворялись в ней, ночь скрадывала реальность и сама была реальностью, и он возлюбил ночь любовью печали – зрелой любовью, чуждой тревоги и опасений; и глядя, как в окнах дома напротив свет горит ночи напролет, он только улыбался своим мыслям, как улыбается пожилой, проживший на своем веку человек, знающий, что жизнь – не более, чем череда утрат, и самой долгой жизни не хватит, чтобы научиться жить иначе; и в ночь, когда сбылись предчувствия жены, когда в полночь в передней раздался бесцеремонный звонок, и из окна он увидел черный фургон у черной подворотни, он велел жене открыть, сам

заперся в ванной, и с любопытством прислушиваясь к доносившимся из коридора голосам, достал из—под ванны завернутый в промасленную тряпку револьвер, который столько лет возил с собою из города в город, сел на обод ванны, вставил дуло в рот, и глядя на шашечный кафель пола, стал ждать, пока он исчезнет, а между коленей покажется колодец с темной и далекой водой и дрожащей на поверхности точкой света, и он сможет тронуться в путь...

Светлана СЫРНЕВА

ПОСВЯЩЕНИЕ ПУШКИНУ

БОЛДИНО

Нынче рано стемнеет. На юг улетели стрижи.
Но седок не торопит коня. И, как верный холоп,
конь послушно минует аллею до крайней межи,
а оттуда хозяин его посылает в галоп.
Чистым холодом бедное сердце своё обогрей!
Под копытами звонко в осколки расколется лед.
Вдаль по голой равнине – быстрее и быстрее –
так, чтоб эхо, тебя обгоняя, летело вперёд.
Рощи тихи и голы, и видно далёко насквозь,
и прозрачный простор сохранится до самой зимы.
Всё давно облетело, увяло, под крыши свезлось –
и природа на время раздвинула стены тюрьмы.
Не заветный ли ритм обозначился в стуче копыт?
Гулкий звук просквозит, долетев до стеклянной стены –
от неё отразившись, к обратной стене пролетит –
и не скоро утихнет хождение этой волны.
И покуда в глубинах дворцов сочиняется ложь,
бесприютная правда рождается ей вопреки.
Ты, свобода поэта, внутри несвободы живёшь,
ты сильнее и шире тебя заточившей строки.
Есть предел, где поэту не смеет никто помешать,
есть осеннее поле, где пусто и нет никого.
Сколько воздуха в небе! Им можно до смерти дышать.
И века пролетают – а меньше не стало его.

ПУШКИН

Жизнь свою при полуполночном свете
перебрал – и залился слезами.
Душно! Дверь распахнул на рассвете,
поднял взор, присмотрелся и замер.
О нежданная сладость обмана!
Словно вдруг оказался не дома:
старый сад выступал из тумана –
недвижимый, чужой, незнакомый.
Серебристые кроны светили
над белесою мглой бестелесной,
словно за ночь сей сад насадили,
опустив с высоты поднебесной.
И такое почудилось в этом
предсказание близкого счастья,
что не стоило верить приметам
и к печали своей возвращаться.
И упала на сердце отрада,
и вошла в него свежая сила,
словно это молчание сада
долгой жизни ему посулило.
И немели деревья, немели,
и молчали деревья, молчали.
И ничем намекнуть не посмели,
что другое они предвещали.

КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА

Не отрекся от первой любви,
верен Родине был и присяге
и оставил записки свои
на казённой бумаге
Пётр Гринев. Он как будто и жил
по чужой, не по собственной воле.
Старомодно свой век отслужил
в допотопном камзоле.
Он от жизни не взял ничего,
в стороне от событий старея.
Побежденный соперник его
оказался хитрее.

Этот знал, что пойдёт далеко,
перестригшись однажды «под скобку»:
кто свободен – ступает легко
на запасную тропку.
Ведь для умного ложь – не обман,
а быть может, и благо порою.
Он пошёл из романа в роман,
и – центральным героем.
Он с десятков имен износил
и в любые впадал превращения,
но повсюду свободу гласил,
нёс плоды просвещения.
Побывал он в добре и во зле,
от безверия к вере метался,
помешался – и умер в петле,
но воскрес и остался.
И доживший до наших времён,
на своём и чужом пепелище
все скитается, роется он,
всюду истину ищет.
И за ней же – не ждут никого,
слишком долгая вышла отсрочка –
Пётр Гринев и невеста его,
капитанская дочка.

МЕДНЫЙ ВСАДНИК

Пётр окно в Европу прорубил
и у моря памятником встал.
Но немало жизней загубил
в брешь ворвавшийся девятый вал.
И молчали грозные дома,
и меж них водоворот кипел.
Кто-то умер иль сошёл с ума,
кто-то выжил и остался цел.
Час настал – и схлынула волна,
отыскав заветный водосток:
не назад попятилась она –
покатилась дальше на восток.
Растерявшись, тонут Тверь и Клин,
и Воронеж под воду идёт.

О Россия, о страна равнин!
Вся ты – пойма для холодных вод.
Белые затоплены сады,
поверх пашен плавает весло.
«Всё живое вышло из воды?»
Всё живое под воду ушло!
Половодие народных бед
новую отыскивает ширь.
И Урала каменный хребет
отступил, не уберег Сибирь.
Так с волною встретилась волна,
вылившись в Великий океан,
и в пучину вод погружена
самая великая из стран.
Родина! Остался в глубине
твой народ, приученный терпеть.
Золото твоё лежит на дне,
а не тонет только медь.

МОЦАРТ И САЛЬЕРИ

Публика знать не могла,
как ему жить тяжело.
Гений не ведает зла,
он провоцирует зло.
Лёгкок твой шаг по земле –
значит, тебе повезло.
Гений не помнит о зле.
Гения высмотрит – зло.
Будет ступать по пятам,
будет в затылок дышать.
Полно, да разве ты сам
сможешь ему помешать?
Чтоб уязвить без помех,
справить своё торжество,
зло поселяется в тех,
кто тебе ближе всего.
Ты ли об этом не знал,
правду постигший и ложь?
Что ж ты так смело бокал,
поданный другом, берёшь!
Гению выбора нет:

пред неизбежным концом,
в самый последний момент
к злу обратишься лицом.
Чья-то не дрогнет рука,
не промахнётся стрела.
Всё. Ты теперь на века
освободился от зла.

* * *

Оседала студеная ночь
серебром на бегущих конях.
Это слёзы застыли в глазах,
это я пролетаю в санях.
Ненадолго нам детство дано,
нет свободы, есть счастье одно:
с этой зимней дороги свернуть —
или сгинуть в снегах — всё равно!
Все мне чудится беглый мотив
несворотной дороги земной.
И созвездья, на небе застыв,
судьбоносно висят надо мной.
Белый пар отстаёт, словно дым,
не задевши алмазную высь.
О, как чудно, как весело им,
как они с моей жизнью срослись!
Так беспечно я верить могла,
что не будет ни боли, ни зла,
и дорога моя пролегла
в дальний дом, где достанет тепла.
И скрипели ступени крыльца,
и визжала высокая дверь.
Этой жизни не будет конца,
а другая — бессильна теперь.
Всё познавшее сердце! Молчи,
оглянувшись далёко назад.
Я заснула. Я сплю на печи.
И созвездья меня сторожат.

Константин САВЕЛЬЕВ

Я РОДОМ ИЗ СКАЗКИ

Я родом из сказки. Из той, где дурак
ходил за три моря на поиски клада.
И всех одолел. И досталась награда —
никак не пропьет, не растратит никак.
Смущает домашних неясная речь
о львах, великанах, диковинных птицах...
и царская дочка Ивана боится,
и шепчет кормилица ей :

— Не перечь...

Полцарства — в придачу. Награда? Беда?
Он в сказке своей не поймет ни бельмеса.
Полцарства тоски — дальше луга и леса
отсюда никто не ходил никогда.

Полцарства в покое живет и в тиши,
полцарства довольно и кровом, и пищей.
Полцарства — за ту половину души,
что за морем отдал и здесь не отыщет.

Там, где скованный обручем ночи,
пригибается дуб-исполин,
там, где дьявол гортанно хохочет
над бескрайностью нищих равнин.

Где сдвигая походные кружки,
не спеша — много лет до зари —
на заимке, во мшистой избушке,
собрались покутить упыри.

Где надраив штилеты до блеска,
доводя по пути марафет,
нежить прется гурьбой перелеском,
осмелев, вылезает на свет.

Там, укутанный в кокон фланели, –
самый главный на этом пиру, –
накричавшийся спит в колыбели,
безоглядно доверяясь добру.

Был хозяин жаден до работы –
расшибется, а своё возьмет...
И крутились в медогонке соты,
и стекал на дно тяжелый мед.

Гость незванный, я присел в сторонке,
я смотрел из дальнего угла,
как пчела тонула в медогонке –
сильная рабочая пчела.

В мареве плывя, блестели спины,
пыль и пот мешались пополам,
и хозяин улыбался сыну,
разгоняя солнце по углам.

Белозубый, языкастый, звонкий,
не батрак – хозяин на Земле,
солнечную тонкую соломку
протянувший гибнущей пчеле...

Без восторгов и без укоризны
принимая благости и зло,
хочется сберечь, оставить в жизни
пятнышки, где было так светло.

С радостью, что многого не понял,
в счастья удивляться до конца
просто быть пчелою на ладони
сильного и мудрого творца.

Обживший вечность, как скворец – скворечник,
в пустом гнезде соломку вороша,
почувствую: становится нездешней
от здешности уставшая душа.

Ей скучен путь по городам и весям,
шмелиный май и яблони в цвету:
на подоконник сядет, ноги свесит,
полдня сидит – и смотрит в пустоту.

Мы пережили и добро и худо,
нас рассчитали честно и сполна...
да что ты хочешь рассмотреть отсюда,
ведь ни черта не видно из окна.

Я за тобой: за светом ли, за тенью
готов скользнуть и в хаосе кружить,
ведь в три простых, понятных измеренья
совсем немного можно уложить.

В трех измереньях – видишь – вечереет.
За горизонтом топчутся века.
Я – это ты. Кто ты – понять не смею...
пожалуйста, не объясняй пока.

А.

Кто уже не придет, а кого и впускать неохота,
и не хочется верить, что это уже навсегда.
И приснится мне друг, с кем бродили вдвоем по болотам,
и проснусь, испугавшись, что с другом случилась беда.

Ах, как пахнет гнильцой это наше прекрасное время,
исчезают друзья - кто погнавшись за ним, кто отстав...
И в душе у меня, может, люди... а, может быть, – тени...
не хочу разбираться, смелей напоследок не став.

Скоро кончится все. Но когда отнесут и отплатят,
и насадят цветов: ярко-желтых, как звонкая медь,
отпращусь на побывку - хоть в шкуре облезлой собачьей -
у знакомой двери ранним утром разок посидеть...

Владимир ПЕНЧУКОВ

ПРЕМЬЕРА

РАССКАЗ

Профессиональной актрисой Нина не стала. Дважды она пыталась поступить в театральный и на третий год, к великой радости матери, отнесла документы в другой институт.

– Вот так-то лучше, доченька. Совсем ты извела себя. Глянь в зеркало – кожа да кости. Пусть себе другие скачут по сцене, пусть, а ты будешь деток учить. Очень хорошая профессия. И нужная.

И вот, Нина – в педагогическом. Но забыть о сцене?! Даже на лекциях в институте она украдкой учила текст новой роли, готовясь к очередной премьере в народном театре. Нина смирилась с тем, что хватать звезды с неба – не её удел. Да она никогда и не тянулась к ним руками. И даже голову вверх не задирала: «звёзды» есть, да не про её честь. Пока не отнимают возможность хоть пару минут пережить чужие радости и страдания на сцене – и то ладно.

Тик-так, тик-так, день,ночь – сутки прочь. И всё бы ничего, не прерви обыденную, монотонную, как жужжание пылесоса, серую повседневность Нины телефонный звонок.

Бросив недочищенную картофелину в кастрюлю, Нина вышла в прихожую.

«Нина, ты?» – услышала она в трубке голос режиссёра.

– Здравствуй, Лёньчик.

– Бросай всё и шпентикряй в студию. Срочно.

– Хорошо. А что случилось?

– В театре поговорим, – оборвал Нинино любопытство режиссёр, но не удержался. – Я думаю, тебе давно пора сыграть большую роль.

Ну конечно, пора! Давно пора! Нина заметалась по квартире. А как же! – твердила она про себя. Вот радость! А я-то, я-то! И мечтать перестала...

На какой-то миг Нина увидела небо в алмазах.

Плащ, сапоги... Глянула в зеркало: помаду на губы, и – вихрем на улицу. Полчаса трамваем к Дому офицеров, а кажется – целая вечность. Скорее, скорее! – мысленно подгоняла она вагоновожатого.

Остановка.

«Наконец-то!»

Перескакивая через две ступеньки, Нина взбежала по лестнице на третий этаж, где находилась репетиторская студии актёров-любителей.

– Нет, нет и ещё раз нет! Моё решение твердо: Аделлу будет играть Нина. Я уже всё продумал. Точка. Финита ля комедия. – Услышала Нина свистящий

голос Лёньчика, и тут же отдернула руку от двери.

«Кажется, из-за меня ругаются. Почему? Не хотят, чтобы я играла? А Лёньчик сказал... Что же он?»

— Аделлу должна играть видная девушка... (Леночка, узнала по голосу Нина).
Всё должно быть при ней: и тут, и тут. А что твоя Нинка?

— У Нины тут много, — донёсся из-за двери голос Лёньчика.

— Театр — не кардиологическое отделение. И мужчинам, между прочим, совсем не то нужно.

— Много ты знаешь о мужчинах!

— Да уж много. И вдоль, и в поперек. Не ты первый.

В труппе ни для кого не секрет, что Лёньчик и Леночка не просто друзья-товарищи.

— Или тебя после сладкой булочки потянуло на чёрствый сухарь? Извращенец!
— продолжает наседать Леночка. — Тоже мне, нашёл приму из народа! Мать — уборщица в офицерском стойле, а дочь — звезда Мельпомены. Да её больше, чем на «кушать подано» и не хватит-то. — И после короткой паузы: — Да на такую плоскодонку разве позарился бы тот кавалер, о котором пишет Лорка?!

Медленно, не пропуская ни одной ступеньки, Нина пошла вниз. Остановившись на каждом повороте лестничного марша, она оборачивалась, делала шаг назад, но... «Ну что я им скажу? Может, и вправду не гожусь?»

Парадная дверь противно взвизгнула за спиной. Нина зябко съёжилась, подняла воротник плаща.

Порывистый ветер срывал с деревьев отжившую листву и швырял её на мокрые тротуары под ноги прохожих.

«Почему она такая злая?!» — с обидой и болью подумала Нина о Леночке, своей грозной сопернице, крашеной блондинке с эффектными формами и длинными, красивыми, как у заграничной кинодивы, ногами. Нина видела такую же яркую актрису в порнофильме. Как-то, ещё в прошлом году, Леонид принёс видеокассету и похвастался: «Клубничка» — пальчики оближешь». Лена заговорщицки шепнула Нине, что в кабинете отца в шкафу спрятан отечественный видик «Электроника». И дочка уборщицы... В общем, ей всегда хотелось хоть как-то угодить Лёньчику, хоть в чём-то, лишь бы он обратил на неё внимание, а тут такая возможность! Да и дочка самого Василия Денисовича впервые обратилась к ней, будто к закадычной подруге. И Нина сама назвалась открыть кабинет начальника гарнизонного Дома офицеров. В тот же день она взяла у матери ключ (сказала, что поможет ей, вытрет пыль с мебели), и когда уже все порасходились и клуб опустел, открыла дубовую дверь и... как сама себя обворовала.

Телевизор смотрели без звука: не дай бог, вахтер услышит. Но на экране! На экране! Нина чуть дышала: ей и стыдно было впервой смотреть, как голая порнозвезда занимается крутым сексом с голыми мужчинами, и не было сил оторваться от этого зрелища. Она и не подозревала, что такое может быть. Но

раз показывают. Нина верила телеэкрану, как верила программе «Время», как верила каждой строчке в газетах «Правда» или «Известия». Да и Лёньчик, её Лёньчик не смотрел бы то, что дурно, что нельзя смотреть. Значит, так может быть. И так есть, и совсем не дурно если Лёньчик смотрит. И ещё Нина ловила себя на том, что ей всё это нравится, как нравится всё, до чего далеко-далеко, как до Луны в небе. И тут Леночка, будто пощечину влепила, окликнула Нину и ехидно заметила: «Вот бы тебе такие сиськи, а... Нина!.. Хочешь?» Нина вздрогнула и скуксилась: она как раз с завистью смотрела на роскошную грудь разухабистой порнозвезды. Нина обиженно повернулась на голос (Лёньчик и Лена сидели на диване, тогда они ещё не были любовниками, Нина – в кресле, чуть впереди и сбоку) и сразу поняла, что Лёньчик уплыл от неё, навсегда уплыл. Лена с расстегнутой на все пуговицы кофточке – грудь на виду, сидит на коленях у Лёньчика и вульгарно ухмыляется, а рука Лёньчика глубоко, даже локтя не видно, у неё под юбкой.

Выгнать бы из кабинета беспутную парочку, в шею вытолкать, да не хватило духу. Самой уйти от позора? А как? У неё же ключ... Не оставлять же их одних, вдруг застукают, тогда что? За такие просмотры и в тюрьму могут посадить. А как театру без режиссёра? Был случай, рассказывали, что кого-то посадили на пять лет за то, что тот смотрел запрещённый фильм на видеомагнитофоне. Да и маму могут выгнать с работы. И ещё – ревность своими потными ладонями душила Нину. Ревновала до тошноты, до спазм внизу живота. Но терпела. И ещё – глухо и тупо надеялась, что Лёньчик и её посадит на своё колено, на второе колено, и тоже запустит свою руку ей под юбку. Нина в тот миг была и на это согласна: она любила «своего» Лёничку, как любят горбатые дурнушки писанных красавцев. А Лена, будто прочитав, что у Нины в голове, опять: «Нинка, ну скажи, не ломайся, ты хочешь, чтоб у тебя были такие сиськи?»

... Еще в девятом классе Нина с грустью заметила, как безнадежно отстала от сверстниц. Те уже носили лифчики, а она, как первоклассница, всё в мальчиковой маячке, – какая жалость! А на уроки физкультуры хоть и не показывайся. «Ну почему я не такая, как все!» – тосковала Нина, замечая жадные взгляды мальчишек на рельефные бугорки под кофточками одноклассниц.

В институт Нина принесла справку об освобождении от физкультуры. Разоткровенничалась перед участковым терапевтом, и та – хорошо, что врач женщина, – посочувствовав её горю, уступила столь необычной просьбе.

Домой вернулась поздно вечером.

– Нина, ты? – окликнула мать из кухни. – Где ты пропадала? И картошку, вижу, не дочистила. Даже воду в кране не перекрыла. Тебя Лёнька спрашивал, три раза. Позвони ему, что ли. Погоди, тапочки вынесу – наследись.

Щёлкнул выключатель – в прихожей вспыхнул свет.

– О боже! – всполошилась мать. – Да на тебе лица нет. Что с тобой, доченька?!

Нина молча стянула плащ, свитер, вошла в свою комнату.

«Большая роль, — вздохнула она и подошла к зеркалу: на неё глянула незнакомая девушка с опухшими от слез глазами. — Ну, какая из меня Аделла, или как там её...» — ещё раз вздохнула, подошла к телефону и набрала номер.

— Это я.

— Молодец, что позвонила. — В голосе Леонида угадывались и укор, и вина, и победные нотки. — Послезавтра в шесть вечера первая читка. Не опаздывай,

— Но я...

— Знаю, знаю. Мне вахтёр дядя Миша рассказал — видел, как ты выскочила на улицу. Ладно, проехали, не бери дурного в голову.

— Но я теперь не смогу, Лёничка.

— Да что мне, ещё и тебя упрашивать! — громко взвизгнула мембрана. Нина вздрогнула.

— Я согласна, Лёничка, согласна... но только для тебя, — будто разделась догола, но в трубке уже: пи-пи-пи...

Мать выглянула из кухни, сокрушённо покачала головой, но ничего не сказала. «И зачем только я привела её в Дом офицеров! Знала б, чем всё кончится — на порог не пустила бы. Сама б мыла полы, без её помощи. Артисткой ей хочется быть!»

До премьеры — считанные дни. Лёничка из кожи лез: пять месяцев пытался создать что-то новое и оригинальное. Пять месяцев кричал, надрывая голосовые связки и нервную систему. Пять месяцев он то записывал своих актеров в гении, то обзывал их бездарщиной. Пять месяцев хватался то за голову, то за сердце. Освещение, костюмы, декорации и ещё тысячи мелочей — тоже его забота. Пять месяцев напряженного труда, даже не труда, а сплошной истерии вымотали и его, и всю его труппу. И вот, еле дотерпев, пока дисциплинированный, стриженный наголо и замученный ежедневной муштрой зритель в защитной форме не уселся и не затих, Лёничка жестом показал — пора начинать. И начали. Да так, что глаза б не смотрели. Первое отделение было скомкано. Актёры, словно бегуны на дистанции, наперегонки выплескивали свои реплики, даже не вспоминая о системе Станиславского, которую Лёничка вдалбливал им на каждой репетиции.

Зрители откровенно скучали, не проявляли никакого интереса к сцене, где уставшая Бернарда устрашала судьбой и богом своих вялых, с постными лицами, какими показывали их актрисы, дочерей.

Бернарду, хозяйку дома, играла известная в узких кругах актриса-любитель Тамира Михайловна Бех. Но и на неё не интересно было смотреть.

Антракт.

Багровый от жары и гнева Лёничка мечется среди своих подопечных и вопит, что они «зарезали» не только его, режиссёра, но и самого автора.

— Это же чёрт знает что! Увидел бы Гарсиа Лорка — в гробу перевернулся

бы! — И, то ли угрожая театру, то ли обещая себе. — Чтоб я поставил ещё хоть одну пьесу в этом балагане? Чёрта с два! С меня довольно. Финита ля комедия. Вот уж, что верно то верно: в народных театрах не бывает народных артистов.

— И народных режиссёров... — той же монетой отчеканила Бернарда-Бех.

Лёньчик даже не повернулся к ней.

— Разве вы играли! Вы меня резали без ножа. Разве вы действовали, как я вас учил! Вы кровь мою пили. Сколько раз я показывал, как ходят испанки! А вы?! Посмотрели бы на себя — ужас! Передвигаетесь по сцене, словно коровы по льду. Всё! Карету мне, карету. Хорошо хоть солдат пригнали, этим тупицам всё равно, что смотреть, лишь бы на плацу не маршировать.

— А там не только солдатня, там и гражданские есть.

— Знаю, Лена. Знаю. Я видел. Но лучше б их совсем не было. Уж лучше перед пустым залом играть. — И в истерике: — Да будет проклят тот день, когда я согласился руководить вашим богом забытым коллективом! Надо действовать на сцене, а не читать заученные фразы.

— Товарищ режиссёр, вы ещё крикните — не верю! не верю! — опять вставила шпильку Тамара Михайловна Бех.

Лёньчик резко повернулся к ней — та как раз благополучно надкусила второй бутерброд с ветчиной — и, сильно прищурив глаза, угрожающе зашипел.

— А что? И крикну. Я действительно не верю ни одному вашему слову, ни одному вашему жесту, Тамара Михайловна. — И поводит пальцем из стороны в сторону. — Слышите — ни одному. Почему вы сутулитесь?! Бернарда ещё не сломлена. Вы — Бернарда. А Бернарда это... — Лёньчик потряс над головой кистью с растопыренными пальцами, тщетно пытаясь подобрать нужное определение, сделал два быстрых шага назад, и старый кожаный диван отчаянно завизжал под ним всеми своими усталыми пружинами. — Ужас! Какой ужас! Я сегодня выживу лишь благодаря Аделле. Ниночка, солнышко, встань, подойди сюда и покажи любимице публики и всем этим примадоннам, — Лёньчик очертил широкий круг рукой, — как гордые женщины держат голову. Покажи, какая у них должна быть осанка.

— Подумаешь, откопал талант! — съязвила Леночка. — Открыл вторую Ермолову...

— Да, Нина — талант, и с этим надо согласиться.

— Ну, конечно, конечно же, — не унималась Леночка. — Поэтому её и не приняли в театральный институт. — И прищурилась. — Я уже давно заметила, что ты на неё глаз положил. Еще когда роли распределяли, да как-то не верила себе, думала — ошибаюсь. Понадеялась на твой хороший вкус. А теперь вижу. — И усмехнулась. — А что, попробуй сыграть и эту мизансцену. У тебя получится. Как два пальца... Все видят, не слепые, какими собачьими глазами она облизывает тебя. Ты только пальчиком помани — и готова: хоть в ЗАГС, хоть в кусты... — И в истерике: — Ну и катись к ней! Только аккуратней — синяков не наставь себе об её кости. Сначала откорми до божеского вида, а потом уже

лезь на неё... Извращенец. Не удивлюсь, если скоро на мальчиков переключишься. А что, ты – запросто! Сейчас это модно, многие в голубой цвет перекрасились. – И пригрозила. – Только, смотри, как бы не вылетел из театра. Папа не любит таких.

Нина не знала куда девать себя.

– Да замолчи, ты. – пристыдила Леночку Вера Алексеевна Таранюк, играющая экономку Понсию. – Лучше признайся, что ты ей просто завидуешь. – И повернулась к Тамаре Михайловне Бех. – Тamarочка, почём бутерброды? Правда! Совсем не дорого. Свеженькие? Надо и себе сбегать в буфет. Моя внучка страсть как обожает ветчинку.

Тамара Михайловна сняла с третьего бутерброда ломтик ветчины, сложила его пополам, отправила себе в рот, а хлеб выбросила в мусорную корзину.

– Там и с икоркой есть.

– Да нет, Тamarочка, с икоркой – ну их! С икоркой – дорогие. Да и сколько той икры на кусочке хлеба – десять бубликов? Ну их. Моя внучка с ветчинкой любит, аж пальчики облизывает. Ниночка... – Она повернулась к Нине. – А может, ты сбегашь? У тебя помоложе ноги. Я сейчас тебе денюшки дам.

Вера Алексеевна полезла в сумку.

Нина протянула руку за деньгами: дочь уборщицы, всегда на месте дочери уборщицы. Хоть в норковое манто её одень, хоть в совет министров её введи. Будто во сне она смотрит, как Тамара Михайловна старательно пережевывает ломтики ветчины, и недоумевают: при чём тут бутерброды в буфете, когда есть Гарсиа Лорка, талантливый режиссер Леонид и трагедия далекой испанской девушки Аделлы.

Леночка расстегнула лиф своего платья и опустилась в кресло.

– Ладно, хватит лавры делить, мы не на Таганке играем, и не во МХАТЕ. Лёнчик, подай веер – здесь душно. У меня аж под мышками взмокло. – И повернувшись к Нине: – Смотри, «золушка», не опоздай, скоро звонок к выходу. Не подведи своего режиссёра.

И ещё шире распахнула лиф платья.

– Тьфу, бесстыжая! – Вера Алексеевна отвернулась от Леночки. – А ты, Нина, не обращай на неё внимания. Ступай, ступай – успеешь. У неё язык, что помело. Ей, видите ли, роль горбуни не нравится. Ты пробегись по лестнице и успокоишься. Только быстренько, а то выход скоро. – И опять повернулась к Леночке: – И как тебе не стыдно, а! Ну, чего ты насакиваешь на неё, а? Думаешь, если её мама уборщица, так и обижать её можно? Вот напишу рапорт твоему папе – узнаешь! Василий Денисович справедливый человек. Он всегда спрашивает у нас как дела.

Лена криво усмехнулась:

– Как же, отец скорее всех вас поразгоняет, чем мне скажет хоть слово поперёк. – А про себя подумала: «Знает, что могу матери кое-что порассказать про диван в его кабинете».

Жалость других всегда убивала волю Нины. Так уже было, и не однажды. Первый раз это случилось давно, лет пятнадцать назад: её, семилетнюю прозрачную девочку с тощими косичками и огромными зелёными глазами, мать привела в Детский мир, решили купить платье к празднику 1 Мая. Долго выбирали, подыскивая красивое и сходное по цене. В те годы мать часто болела и потому не очень-то баловала дочку нарядами — еле концы с концами сводили. Покупка нового платья стала для Нины событием, настоящим праздником, ведь это первая обновка после смерти отца.

И вот долгожданная минута.

Прицениваясь и обстоятельно обсуждая каждую вещь, они нашли то, что хотели. Ситцевых было много, но все какие-то не те. А это — только одно в магазине. А может, и во всём городе. И сшито, будто специально для Нины.

В примерочную заглянула какая-то женщина и Нина, готовая поделиться радостью со всеми на свете, несколько раз повернулась, демонстрируя красоту своего наряда. Мать стояла и, улыбаясь, смотрела на счастливую дочь. Потом они повесили платье на плечики и пошли выбивать чек. Мать неторопливо отсчитала деньги и подала их кассирше.

Словно пчелиный улей, гудел и суетился предпраздничный Детский мир. Покупатели и просто зеваки ходили от прилавка к прилавку, присматривались, принохивались, лезли через головы. Никому ни до кого не было дела. Каждый сам по себе. Кто-то тихо радовался покупке, кто-то откровенно возмущался по поводу цены и качества, кто-то просто недовольно крутил носом, кто-то удивленно пожимал плечами — всем не угодишь.

Красивая девушка за стеклом кассы развела руками.

Нет... Да нет же... Ведь праздник скоро! Нина не хотела этому поверить — платье продано. Его купила та самая толстая женщина, которая заглядывала в примерочную. Она оказалась проворнее. Рядом стояла её дочь, одетая не по возрасту в дорогое платье из панбархата. Мать Нины подошла к женщине объяснить, что платье присмотрели они. Затем принялась стыдить её. Наконец, просить, чтобы та уступила покупку. Подошли и другие — тоже стыдили толстую женщину. Но та, как гора, стояла на своём: деньги уплачены — товар мой.

«Надо же в чём-то моей доце в деревенской грязи бултыхаться. На целую неделю к свекрови едем».

Когда в разборку вмешалась продавщица, толстуха возмутилась и потребовала жалобную книгу.

На этом спор прекратился.

Женщины принялись жалеть Нину — каждая стремилась погладить её по головке.

Этого Нина не перенесла.

Она заплакала.

Сквозь слезы Нина смотрела на свою соперницу, а та равнодушно поглядывала по сторонам и указательным пальчиком правой руки энергично

ковырялась в носу. Ногти у девочки были покрашены, причём таким же алым лаком, как и крылья бабочек, порхавших по голубому фону платья из ситца, которое Нина с мамой присмотрела себе к Первомаю.

...Расколовшись на две половины, занавес обнажил мускулистое тело Иисуса Христа. Скорее Христа-самца, чем Христа великомученика. Вот только мощных гениталий не хватало, а так всё в порядке. По тайному, может даже подсознательному замыслу Леонида, огромное, грубо сработанное распятие на чёрном фоне должно помочь публике увидеть ауру Гарсиа Лорки и разобраться в нравственных устоях семьи, о которых он рассказывает в своей пьесе «Дом Бернарды Альбы». Это была единственная декорация на сцене.

Солдаты ещё усаживались на места, когда Нина выскочила на сцену: еле успела – в буфете была очередь. И вдруг, увидев Леночку, о чём-то шептавшуюся с Верой Алексеевной, замерла. Нине показалось, что Леночка опять говорит о ней какие-то гадости.

Будто и не на сцене всё происходило.

Нерешительность длилась не дольше трех секунд, и теперь уже не Нина, а Аделла топнула ногой и гневно вскрикнула. Никто не расслышал что именно, но все увидели, как она это сделала. Более естественно топнуть ногой на сцене не смогла бы, наверное, ни Доронина, ни даже сама Ермолова. Во всяком случае, так показалось зрителям. Леночка ответила в той же тональности – будет тут каждая замухрышка топтать ногами, да прикрикивать. К ним подключилась Понсия...

...и на сцене разыгрался скандал.

Но уже строго по тексту.

Искра, вспыхнувшая в Нине, передалась Аделле, проскочила к остальным актрисам. Волшебник взмахнул своей палочкой, и героини ожили. Лёньчик что-то прошептал насчет путей неисповедимых, но запнулся на полуслове и с открытым ртом застыл за кулисами. С первой же картины второе действие, что называется, пошло. Это чувствовалось и по притихшему залу. «Выходит, что не зря я надрывался! Игра стоила свеч. – Лёньчик с восторгом и тревогой следит за Аделлой – не сорвалась бы, только бы не сорвалась. – Талант! Настоящий талант. Я же чувствовал. Я видел её Аделлой. Я один это видел. Я – режиссер. Настоящий режиссер».

В каждом выходе Нины публика настораживалась, прислушивалась. Не сумев защитить себя, Нина защищала свою героиню, растапывала злость и цинизм Леночки и сестёр Аделлы. И текст пьесы, и ненависть к любовнице Лёньчика слились в единое целое, как два ручейка в единый бурный поток. Нина жила Аделлой, как живут лишь однажды и, кажется, не осознавала этого. Узнав о гибели того, кому, не раздумывая, отдала свое чистое тело, Аделла окинула помутневшим взглядом мать, служанку, пристально посмотрела на сестёр. Словно не доверяя услышанному, как полоумная, подошла к авансцене и с воплем

метнулась за кулисы.

Зал, не дождавшись финальной сцены, взорвался. Зрители вскочили. Некоторые, не помня, с чего началась пьеса, оглядывались по сторонам – спрашивали, что к чему, но от них отмахивались, как от назойливых мух: смотреть надо было, а не ворон ловить.

Погас свет.

Лёньчик ликовал: «Вот это удача! Моя удача! Куда там Алешке из ТЮЗа! И всё это видел Александр Сергеевич Барсов. – Лёньчик видел его в зале. – Успех! Это же потрясающий успех! Может, подойти к нему? Нет, не стоит: пусть сам подойдет. Он должен подойти. Теперь – должен. Жаль, Юрия Любимова тут нет. Далеко он, в Москве живет. Ну, да ничего, и «барсик» сойдёт на худой конец. Я знаю, у него открылась вакансия. Не дурак же он, возьмёт меня к себе, это ж для его театра могут открыться новые горизонты. И тогда – гори они синим пламенем! И это офицерское стойло, и его начальник, дутый индюк с майорскими погонами, и его распутная дочка. Совсем затрахала, кошка ненасытная! Нужны мне её сиськи, как прокисший борщ... Тьфу! И все эти бабульки-артистки, божьи одуванчики, неувядающие «девочки», в обед сто лет, а туда же... Тоже, горят они синим пламенем. Всё, финита ля комедия, сюда я больше не ездук. Надо будет уговорить «барсика», чтоб и Нину взял. Нина не подведет, Нина – молодец. Барсов должен нас обоих взять в свою труппу. А чего, собственно, я должен уламывать его: поставлю условие – или вдвоем с Ниной, или пусть не мечтает заполучить меня в свой театр. То-то будет переполох на театре! Ну, ничего, я ещё потягаюсь. И с Аркашкой, и с Авдеевым. Подумаешь, сын местечкового драматурга! Посмотрим, кто кого... Посмотрим, кто раньше на московских театрах очутится. – Лёньчик выглянул из-за кулис в зал. – И солдатики, вроде, тоже ничего... Понимают, что хорошо, а что плохо. – Ему хотелось обнять весь мир. – Молодцы ребята ».

На сцене загремел опрокинутый стул, и в ту же секунду «выстрелил» правый верхний «пистолет», выхватив из темноты девушку, укрытую простыней, и над ней – петлю из грубой пеньковой веревки. Петля какое-то время раскачивалась из стороны в сторону, будто маятник, и, наконец, замерла.

Лёньчик дотянулся до магнитофона и повернул регулятор громкости до отказа. Аккорды «Аве Мария» схлестнулись с новым взрывом аплодисментов.

Актёры благодарили зрителей.

На сцену упал маленький букетик гвоздик. Нина посмотрела в зал. В первом ряду со стула вскочила худенькая девчушка в ортопедическом ботинке, выхватила из рук оторопевшей матери огромный букет роз и, не отрывая восхищенного и благодарного взгляда от Аделлы, прихрамывая выбежала на сцену.

Зал с новой силой полыхнул аплодисментами – словно ведро бензина плеснули в костёр.

Нина не верит своим глазам: ей дарят цветы! Первый раз! И какой большой букет! Она сделала два быстрых шага навстречу хромой девочке с цветами, и...

Широкая, мясистая спина Тамары Михайловны, полковничьей жены, преградила ей путь.

Солдаты продолжают аплодировать. Не жалеют ладоней и штатские.

Нина посмотрела вокруг. И ей показалось, что всё это уже было. И не раз. Словно просматривая знакомый киноролик, она угадывает каждое движение на сцене. Так и есть – цветы в руках Тамары Михайловны. Она перехватила их. Она обворовала Нину. Она обворовала девочку-калеку. Она обворовала Аделлу. Она привыкла получать цветы – и получила. Одно было Нине невдомек: Тамара Михайловна знала, для кого их купила мама той девочки, одна она знала это. И ещё та женщина. Только они вдвоем знали, за чьи деньги куплены эти цветы.

Нина попыталась улыбнуться, но не смогла. Повернулась к девочке. Та растерянно поглядывает то на неё, то на тётю Тому, давнюю приятельницу мамы, и не знает что делать.

Тамара Михайловна крепко держит цветы, горделиво улыбается, кланяется, и свободной рукой показывает на остальных актрис, дескать: спасибо, спасибо, но не я одна заслужила вашу признательность, мне помогали вот эти...

Нина прикрыла глаза ладонями.

Под ногами закачалось, завертелось.

Потом – уже на грани сна и реальности – сухой треск дубовых досок сцены.

И темнота.

А в зале не смолкают овации.

Всего остального Нина не помнит. Не помнит и как очутилась в трамвае.

Чья-то рука легла на её плечо. Дядя Миша, старенький вахтер Дома офицеров, протягивал ей маленький букетик мимоз.

– Не расстраивайся, дочка, ты играла лучше её. Лучше всех. Я видел. Что делать, награды не всегда достаются тем, кто их заслуживает. Крепись.

И Нина, наконец, заплакала, стыдливо поглядывая по сторонам.

Юлия КОПЫЧКО

ЖЕНЩИНА

* * *

А ветер все – мимо, и мимо, и мимо...
Хватило бы ветра – на всех унесенных,
живых, и погибших, и кем-то спасенных,
и кем-то удержанных в круге незримом?
А им, унесенным – достанет ли силы
(их столько по белому свету носило!) –
вернуться в Итаку, на древное ложе;
к устам припадая, не тронутым ложью...
Не проще ль, скользя между Сциллы с Харибдой,
мотаться привычно – по кругу, по кругу,
кормя поголовье голодное рыбе –
от Вислы, от Рейна – до Дона, до Буга...
А тем, что остались, – им хватит ли веры,
и хватит ли воли – не вытянуть якорь?
Манят нас сирены, хранят нас – химеры,
и так непосильно остаться в Итаке!
Так невыносимо удачу прохлопать,
и так неизбежно – на вызов ответить.
Есть чаша Сократа и пропасть Эзопа,
и меч Архимеда.

И – ветер, и – ветер...

* * *

*По мотивам речи Святейшего Патриарха
Московского и Всея Руси Кирилла*

В остуженной душе печаль сокрыта –
молчит она... В ней застоялась кровь.
Но вдруг толчком вернётся пульс – от слов:
«Моя надежда и моя молитва...»
Как хорошо, когда слова чисты,
когда звучат не свысока, но свыше!
Как хорошо, когда их могут слышать
уставшие от лжи и суеты,

ушедшие в себя – в укрытья лбов,
 за отчужденья каменные плиты...
 Как хорошо, когда звучит Любовь,
 чтоб оживить надежды и молитвы!
 Чтоб мы сказали миру: Вот, возьми!
 Душа моя полна любви, как чаша!
 ... Подснежниками вспыхнут средь зимы
 молитвы наши и надежды наши...

ЖЕНЩИНА

Как жить?.. В толпе собой остаться,
 отбросив все сомненья прочь,
 под ветром – гнуться, не ломаться –
 из года в год... Из ночи – в ночь.
 ... Так быстро: за зиму – осень;
 а лета будто бы и нет.
 В который раз его уносит
 потоком суеты сует.
 И душу червь сомнений гложет,
 что снова сил недостаёт
 быть той, которая всё сможет,
 единственной – который год...
 А жизнь проходит как-то всуе,
 не дорастая до картин;
 эскизы странные рисуя
 небрежным росчерком морщин.
 И нет руки – чтоб прикоснуться;
 и нет плеча – уткнуть лицо
 и, выплакавшись, улыбнуться:
 всё – ерунда, в конце концов.
 ...А те, случайные – мелькали
 и забывались, уходя,
 не утолив ея печали
 и не остановив дождя...

МЕДОВЫЙ СПАС

Бесценные, сочащиеся соты
 раздарит август, света не щадя...
 – Прими меня! – как семечко осота,
 летящее – до первого дождя;

летающее – как будто бы нетленно:
бестрепетно, бесстрашно, наобум!
Мне также хочется – лететь, лететь блаженно,
Создателю вручив свою судьбу!
Лететь – пушинкой нежности беспечной,
за грань миров небесных и земных,
лететь – и знать, что счастье – быстротечно,
и не жалеть об этом – ни на миг.
...А час придет (ведь он придет, не так ли?) –
прибита к почве тяжестью дождей,
я растворюсь в обычной, беглой капле...
А дождь – великий, мудрый чародей –
уставшую от родов землю глядя,
шептать ей станет тайные слова,
покуда не сомлеет от услады,
покуда не настанут Покрова
и все уснет... И я усну, сменяя
заботы тела на хрустальный сон
про то, как лето соты наполняет
под солнцем и под звездным колесом.
И потекут столетья, безымянны...
...Я от того очнусь среди тепла,
что в глубину соцветия так рьяно
и так щекоотно тычется пчела!

МУЗЫКА

Пальцы на клавишах были, как дождь.
Окна тянулись в ночную прохладу.
Музыка! – о, отойди, не тревожь!
Музыка! – о, отпусти же, не надо!

Всплески – и плачущий шепот воды.
Вскрик – и тончайшая медная осыпь.
Музыка! – там, на осколках беды,
кружится девочкой простоволосой.

Дождь уходил опустевшим двором.
Лужи сверкали асфальтовой плешью.
Долгое тулово втягивал Гром
в узкое логово, в старый валежник...

Музыка в пальцах металась, рвалась...
О, пощади! – плод познания сочен!..
Музыка! – смерть, покаянье, соблазн...
Ночь. Сумасшедшая музыка ночи...

Звуки парили, крыла распластав,
и замедлялось вращенье планеты.
Музыка! – о, не покинь, не оставь!
... Лето. Какое дождливое лето...

БАБУШКИНО ДЕРЕВО

Это был – или памяти шалость? -
(в детстве все не имеет границ!) –
но над улицей возвышалась
эта груша – царицей цариц!

Старой – старой была, и мудрой.
С довоенной жила поры,
стайки звезд укрывая под утро
в гуще листьев, в морщинах коры...

И казалась на башню похожей,
если смотришь издалика.
...Так и выросла я – у подножья
тайной лестницы в облака,

на стремнине воздушных течений,
повидавших весь мир на веку...
Там висели мои качели –
на обломанном нижнем суку.

Высоко-высоко, на верхушке,
дозревали себе, не спеша,
кривобокие сладкие грушки;
звучно шлепались вглубь спорыша.

А качели – у самого донца.
... Сук скрипел; и, листву шевеля,
взад – вперед пролетало солнце;
взад – вперед проносилась земля...

... Кем-то куплен старенький домик.
Одряхлевший вырублен сад.
А по строкам – пырей да донник,
как тире между знаками дат...

Да и даты – поисточились,
поистерлись; всплывают не вдруг...
...Так в которой из жизней случилась
та весна?..

Все смеялось вокруг.
Цветом нежности, шёпотом счастья
май сады закружил добела...
Только груша была безучастна:
не проснулась.
В снегах умерла.

И осталась одна в целом свете
горько – черной, нелепо нагой,
в сухожилиях скрюченных веток,
словно их уже тронул огонь...

И какой-то приبلудный дятел
все трещал, все долбился на ней –
суматошно, как будто спятил,
дожидаясь весенних дней.

И, ночной немоты не нарушив,
чуть дрожала блестка Стожар...
Было жаль засохшую грушу,
и себя почему-то жаль.

... Привыкаем к своим потерям.
Принимаем мир с нами – и без.
И уже никогда не поверим
в чудо–дерево до небес!

... Мне в ту сторону – ветер попутный,
и попутные поезда...
Но живу в стенах суетных будней
и не еду я
никуда...

Все сменилось. И я – другая.
Мы с тем местом – чужие теперь.
Лики прошлого оберегая,
я не трону заветную дверь...

Глубоко, под сетчаткой где-то,
я храню отпечатанный взгляд:
купол листьев, пронизанный светом,
и качели летят и летят...

Олексій БІНКЕВИЧ

СПОВІДЬ МАНДРІВНИКА

Олексі Марченку

Час невпинно спливає, як скоро вода...
Я – мандрівний філософ, я – Сковорода.
Я – криниця знання, до яких ти тяжів.
Я сучасний прообраз майбутніх бомжів.
Бо, як в хату не впустять, лягаю під тин.
Торба – замість подушки –
з Писанням Святим.

Я навчився жидівської, хай мені грець,
бо на ній спілкувався з народом Отець.
Міг переклад зробити точніш од ченців,
але чим тоді їм заробить на млинці?
Мандри духу і тіла, хіба то не фах?
Може, я і безгніздий, та чим я не птах?

Крил бракує? Ви просто не бачите їх.
Мої крила розкуті – то аркуші книг,
що лишу по собі й по тобі, Слобожань,
в мене стільки вирус великих бажань.
Люди-людоньки, кирниця ось вам моя –
кожен тут і стареча, і ще немовля.
І нехай патріарших позбулись борід,
виглядає нас друг коло бідних воріт,

біля бідних воріт і багатих осель...
Світ безмежжя!.. Ми вскочили на карусель
і вона нас, чаклунка, понесла вперед...
З часом Бог з неї висмикне, мов очерет...

...Жив колись я в цариці, в столиці святій,
то й шокованим був, як один багатій,
(щоб не мала до мене претензій сім'я,
я навмисне замовчу те добре ім'я),

той вельможа, той пан,
був колись мужиком.
Він сапелю із ікла слона
з мундштуком
золотим дарував мені:
«Гриць, дорогий,
цей струмент хай лікує тебе від нудьги.
Я збираюсь у Вічність, час швидко мине.
Грай на нім,
то ж, принаймні, згадаєш мене».

Відтоді і мандрую я, мов Агасфер.
Вже душа забажала підзоряних сфер,
де за мною побили чорти ліхтарі.
Ні ворожки нездатні вже, ні лікарі
у останню мандрівку мене не пустить.
До побачення, Вічносте, дякую, Мить.

* * *

Життя, це спалах, це шалена мить,
яка шукає Вічності дорогу,
якщо ти і спромігся щось зробити,
за кожную мить завдячуй тільки Богу!

Розплющив очі – сонечко майнуло.
Спитав себе: «To be or not to be?»?
Оговтався, та вже життя минуло.
А чи лишилась згадка по тобі?

* * *

Коли Господь нам крила дарував
і ми не знали, що робити далі,
не кожен те тяжіння подолав,
аби злетіти у піднебні далі.

Чи то й собі відмовитись від крил –
навіщо зайвим тягарем пишатись?
Шкода, що й досі я не зрозумів,
чи птахом,
чи собою залишатись...

РОЗДУМ

Такий вже час, такий вердикт доби:
могили у степах пограбували,
порізали тополі, мов гриби,
понищили дуби і явори,
та і степи усі переорали.

За землю б'ються рейдери нові,
привласнюючи ради і посади,
в самих лише прибутки в голові,
не тільки руки, й душі у крові!
В яких богів питатиму поради?

«Гостріть сокиру!», – закликав Тарас.
Які сокири в двадцять першій віці?
Майданами вагітніють столиці.
Де Боже слово? Де дороговказ?
Все зводимо: то грати, то границі.

А де ж, у дідька лисого, орли,
заступники одвічні України?
В піснях лишились? Вмерли від ганьби?
Або пішли сусідам на герби,
лишивши нам пір'їни на перини?

Спи, дорога праматір чорних рад.
Та чи не ми гартовані зі сталі?
Хотіли волі? Волі зась! Діждались?..
Я бачу найприкрішу з-понад вад:
орлів нема – стерв'ятники zostались.

Чи доля в нас така? Чи власний дур?
Все стоїмо в багнюці по коліна.
Ще трохи-трохи – і впаде жарина...
Коли ж нарешті похитнеться мур
й прокинеться від сплячки Україна?

Коли скінчаться летаргічні сни?
Господь, сини чекають!
Осени!!!

* * *

Всі гетьмани. Всі прагнуть булави.
А де ж отих булав на всіх набратись?
Тож інколи, бігме, бува і ми
чогось такого прагнемо дістатись,
що і самі дивуємось собі,
якого ж дідька лисого нам треба?
Минають дні звияжні та сумні.
Простягнеш руку – і торкнешся неба.

ЯКБИ...

Якби збагнути міг, що за життя
ми сплачуємо божевільне мито,
то, може, вгамував би почуття
і навіть зайвим став би суму спиток.

По-іншому б дивився я на світ,
усюди б ставив крапки, а ні коми,
і кожен свій необережний зліт
я більше б не повторював ніколи.

Мене б у приклад ставили усім.
На дивака народ дивитись збігся б.
До дому повертався б я у сім,
І вигадати вірша б не спромігся.

Та, слава Богу, сталось все не так.
Палати зміг, але не встиг згоріти.
Шкода лише, що літ моїх літак
вже тільки може силоміць злетіти.

БАБА КИЛИНА

І за вас, і за нас,
і за ньеньку стареньку,
Що навчала квас,
горілочку пити помаленьку.
(з народної пісні)

Пам'яте, звідки нам бабу гукать?
Вже перетліла в землі домовина...
Бабо Килино, ваш образ зника,
як по весні білоквіттям калина.

Рік ще воєнний. А я – немовля.
Баба зі скрині бере скатертину.
І на товчку на горнець молока
в жінки змінює на харч для дитини.

Буквам навчилась вже літ в шістдесят.
(Хто би у приймах навчав сиротину? –
нагодувати панів, поросят)...

...Візьме журнал, як іти до спочину,
і по складочках шепоче слова,
тихо шепоче, неначе у церкві.

В свято карбованця дасть на цукерки.
Хусточка біла. Така ж голова.

Скаже-прикаже, і смійся, і плач,
наче не цілить, а влучить – дотепно.
«Хоч булаву собі май, хоч пернач,
та все одне чорт потягне у пекло».

А заспіває – шибки аж двигтять!
Чом ми, онуки, такі безголосі?
З дядьком Максимом на призьбі сидять,
пісню затагнуть, – так дибки волосся!

...Вперше в житті я горілки напивсь.
Знудило. Баба заходять до хати.

– Треба було б оковиту жувати,
ти ж її, внучок, ковтав? – помиливсь.
Хай там вже очі не мають припон,
чом же втрачати свідомість та розум?

...Іноді згадую бабин фольклор,
думаю, час би сідати за прозу:
«Нагадав козі про смерть,
вона ходить – пердь та й пердь».
«Вари, срако, борщ,
а я пішла москалів кликати».

Дай Боже, фольклору ніколи не зникнути!
Не баба, а сатана.
Чи не з цих витоків творчість
Сергія Жадана?

* * *

Пишу. Не можу зупинитись.
Як графоман, пишу, пишу...
Завжди запізнююсь, спішу.
Де взяти час, щоб помолитись,
чи, боронь Боже, помилитись,
вдивитись в люстро, поголитись,
відчути тонкощів межу...
А чи збиратиму врожай?
Щось у мені перемикає,
і – запитання виникає:
– А чи потрібен він?
Вважай,
бо Вічність
спати
не лягає.
...І повертаєшся до справ,
немов життя своє проспав.

Володимир БРЮГГЕН

ВМІСТ КНИГИ І ЗМІСТ ЖИТТЯ

Цю книгу* давно хотілося взяти до рук... Але, як це не зрідка трапляється в наш час, шлях її до читача був непростий, зтяжний. І ось він, розкішно виданий грубезний том, готовий розкрити свої сторінки уважному читачеві. Глобальність теми не перетворює книгу на вузько орієнтований підручник з релігієзнавства. Синтетичний виклад подій і фактів має певну концептуальну спрямованість, має виразні історіографічні, філософські, науково-теоретичні й навіть особистісні літературні аспекти. Це праця однієї людини, що поставила метою висловити індивідуальне ставлення до безміру історичного матеріалу.

На превеликий жаль, сам автор уже не візьме до рук омріяної, роками плеканої книги: вона стала вінцем його земного існування і зберігає відблиск непересічної творчої особистості. Леонід Сергійович Кукушкін завершив свій життєвий шлях у Німеччині в травні 2008 року. Фізик за освітою, доктор наук, професор, він володів широкою сумою знань (і постійно її поповнював) у галузі культури, на професійному рівні цікавився проблемами філософії, релігії, художньої літератури. Він був читачем найвищої проби; книга була для нього живим співрозмовником. І саме таку книгу хотілося йому створити, саме в такій формі уявлялося йому спілкування з майбутніми читачами.

Вони з'являться неодмінно, оті читачі. Книга варта їхньої найпильнішої уваги. І хай не приголомшить їх позірною складністю розлогої передмови: то від щедрості душевної, від надміру ідей і почувань, від прагнення всеосяжності...

Стиль викладу суттєво міняється на протязі книги. Вона читабельна високою мірою, багато її сторінок упевнено «конкурує» з історичним чи біографічним романом – за драматизмом, змістовим навантаженням, складністю «сюжетної інтриги»... Карколомність реального життя здатна перевищити найбурхливішу літературну фантазію! І названий ефект особливо наочний, коли до загальної історичної канви вписуються, щільно заплітаються десятки конкретних людських доль, неповторних біографічних особливостей.

Книгу чітко структуровано. Вона складається з трьох частин: «Раннее христианство. Византийский период в истории Православия», «Православие и Россия. История русской Церкви», «Православие в современном мире». Кожну з частин поділено на глави, а деякі з глав особливо насичені фактами й подіями, мають ще й додаткову розбивку на «параграфи». Така продумана система викладу

* Кукушкін Л.С. История Православия. - Х.: Фоліо, 2010

в поєднанні з дотриманням історичної хронології допомагає композиційно організувати текст, полегшити читацьке сприйняття величезного за обсягом і багатозарового за змістом літературного матеріалу.

В кількох главах другої частини з особливою увагою розглянуто утвердження і поширення православ'я на теренах середньовічної України, справді народну боротьбу за збереження й охорону своєї віри, роль і значення релігійних проблем у тодішніх суспільно-політичних обставинах.

Вже зазначено приналежність і продуктивність одного з головних творчих принципів Л.С. Кукушкіна – включення в структуру оповіді, органічне злиття з нею більш або менш розлогіх портретних характеристик, біографічних замальовок цілого ряду видатних діячів релігії, освіти, культури, як державних, так і військових постатей різних епох. Усе це дуже збагачує, урізноманітнює книгу. Нестандартні і зворушливі сторінки присвячені Григорію Савичу Сковороді, до якого Л. Кукушкін ставиться з особливою ніжністю і повагою. Цей тематичний ряд книги дозволяє казати про своєрідну «персоніфікацію» загальних релігійних і філософських проблем, ширше – про два основні аспекти оповіді, екстравертний та інтровертний. Перший включає духовну і громадську діяльність церкви, її взаємини з державою, її роль у народній просвіті, у творенні і збереженні естетичних цінностей у різних формах мистецтва – малярства, музики архітектури, самої писемності. Зрештою, літописи – безперечна заслуга Церкви! – сміливо можна назвати збереженням історичної пам'яті народу.

Значний помітний «інтровертний аспект» книги пов'язаний насамперед з роллю й місцем релігії в індивідуальному людському житті, зокрема, і у житті самого автора книги. І цей аспект у поєднанні з літературними ремінісценціями становить дуже істотну, чутливу грань масштабної праці, сягає глибин людської психіки й світової філософської думки. Підсумком багатьох міркувань автора є переконання в тому, що бездуховність, безрелігійність людського існування позбавляють його особливого сенсу, збіднюють самий зміст життя, лишаючи на його палітрі сірі фарби замість їхньої повноти та яскравості, підмінюючи повноцінний розквіт духовної особистості гнітючою і спустошливою гонитвою за примарою матеріального чи кар'єрного «успіху».

Найкрупніші філософи, мислителі, поети відчували глибинну душевну потребу в з'ясуванні свого ставлення до релігії, до побожного поцінування краси й гармонії створеного поза людиною велетенського світу, шукали місце людини в ньому, замислювалися над умовами насиченого й цілеспрямованого людського життя, освітленого й керованого глибокою вірою. Резонансний відгук своїм думкам Л. Кукушкін не зрідка знаходить у карбованих поетичних рядках, добре усвідомлюючи, що в своїх вершинних осягненнях розмисли релігійні, філософські, поетичні зближуються, еднаються, зливаються, гармонійно співіснують.

Недаремно ж епіграфом до книги автор упевнено ставить чудові рядки Ніколая Гумільова:

Есть Бог, есть мир, они живут вовек,
А жизнь людей мгновенна и убога,
Но все в себе вмещает человек,
Который любит мир и верит в Бога.

Недаремно ж так перегукуються з тими словами писані за півтораєста років до них рядки Григорія Сковороди з трактату «Начальная дверь ко христианскому добронравию», що його уклав філософ року 1766-го для молодого шляхетства Харківського колегіуму: «Благодарение блаженному Богу за то, что нужное сделал нетрудным, а трудное ненужным. Нет слаще для человека и нет нужнее, чем счастье, нет же ничего легче сего. Благодарение блаженному Богу. Царствие Божие внутри нас. Счастье в сердце, сердце в любви, любовь же в Законе Вечного. Одно только для тебя нужное, одно же только и благое и легкое, а прочее все труд и болезнь. Что же есть оное Едино? Бог. Вся тварь есть рухлядь, смесь, сволочь, сечь, лом, крушь, стечь, вздор, сплочь, и плоть, и плетки. А то, что любезное и потребное, есть Едино везде и всегда. Но сие Едино все горстию своею и прах плоти твоей содержит».

Ні, називати «царем природи» істоту, яка стільки шкоди завдала їй, так занастила свою божественну колиску, можна лише в іронічному ключі. І вже бачимо, що воля Провидіння не лишається бездіяльною. Природні катастрофи, суспільні катаклізми сиплються на людей, як з рога достатку. Не про такий «достаток» мріяла, покликана дбати наділена розумом людина, в якій, за християнським вченням, присутня Божа подоба. Про збереження й прояв її завжди піклувалася Православна Церква на протязі своєї багатовікової історії. Про це, й про багато іншого, пекуче актуального в наші дні, веде неквапну й ґрунтовну розмову «История Православия» Леоніда Кукушкіна, чия авторська індивідуальність не схована за велетенською сумою історичних фактів, за яскравістю суджень і закликів багатьох релігійних мислителів, філософів, поетів, громадських і освітніх діячів. Це робить знайомство із книгою особливо приємним і повчальним.

Татьяна Селиванчик

НАД СУЕТОЮ – ЛОЗОЙ ВИНОГРАДНОЙ...

* * *

*«Святая наука: расслышать друг друга
Сквозь ветер на все времена...»*

Б.Окуджава.

Похоже на то, что затем и пришли,
Чтоб в гонке и лепке гончарного круга
Господь научил нас услышать друг друга
Дотоле, как станем частицей земли.
Похоже на то, что не даром даны
И времени малость, и бремя в избытке,
Надежд и сомнений высокие пытки,
И тайны, что мы разгадать не вольны.
Безумие – гениям, пир – подлецам –
Не просто - ошибка, потеха Господня:
Спешащим урвать побыстрей и сегодня,
Неведом итог, где не спрятать лица!
...А чья-то, быть может, в неведомый час
Из треснувших, бранных осколков сосуда
Рванётся душа, не готовая к чуду,
Устало-отчаянной нотой звуча.
А там обнаружит и свет и покой
За всё, что казалось Сизифовой мукой
В старанье с любовью услышать друг друга,
В страданье, что нас не расслышал другой;
За то, что и в стужу горели свечой,
Из правды небесной берущей начало,
И не убоялись хулы и печали,
С базарной себя не смешав толчеей.

* * *

Маме

Не называй безотрадным житьё,
Как бы там ни было в мире увечном, —
Видишь, шиповник блаженно цветёт —
Радуйся мигу: пусть он быстротечен.

Что б ни терзало, ни жгло изнутри —
Собраны прожитых лет урожаи —
Словно ребёнок, вбирая, смотри,
От неизбежного чуть отрешаясь.

Выцветшей в горестях зелению глаз
Запоминай откровения лета
И дорожи, уповая на Спас,
Каждым подаренным свыше рассветом,

В листьях узорчатых пряча росу,
Над суетою — лозой виноградной
Тянется наша глубинная суть
к небу
и ждёт озарений в награду.

* * *

Нет, к сожалению, — не сон,
Не чьи-то бредни —
Немыслимый аттракцион
Времён последних:
Глумясь над правдою основ,
Шакальи стаи
На кон земного казино
Полмира ставят.
И снайперы, прищутив глаз,
С тупым стараньем
В упор расстреливают нас
С чумных экранов.
... Кто от беды, кто от суда,
Забыв оседлость,
В другие страны, города

Он будто зовёт, убеждает кого-то
 Не впасть в летаргии беспамятной тьму,
 Не верить чугунным божкам в позолоте,
 Не слепнуть бездумно в кромешном дыму.
 Ему всё равно, что ветрами освистан, —
 Такие гонимы во все времена, —
 Не нужен ему подпевала речистый
 И мзда за сердечную боль

не нужна...

Уже не скрывает, что зол и измучен —
 А вдруг да услышат — хоть он и устал,
 А может — поймут

и запомнят,

заучат

Признанья, что выдохнут эти уста...

* * *

Кем ни была б ты, что б ни говорила -
 Приверженцы прокрустова мерила
 Манером, что и вежлив и жесток,
 Сверчку опять укажут на шесток.

Любители игры краплёной картой,
 Приверженцы отбора в древней Спарте,
 Не ведая вины, свершая суд,
 Так величаво головы несут.

И этим олимпийцам, великанам -
 Совсем не друг петрушка балаганный,
 Не ровня - в переходе менестрель,
 Житейской бурей брошенный на мель.

... Нас делят на счастливых и несчастных,
 На титулы, сословия и касты,
 Живут в плену условностей слепых
 Все те, кто сами в сущности - рабы.

Земные игры в табели о рангах -
 Тотализатор жалкий для мустанга!
 И - благо - в небе для ветров и птиц
 Нет кем-то обозначенных границ...

Николай ПЕРЕЯСЛОВ

«НА МНЕ СКАЗАЛСЯ КРАХ СОЮЗА...»

Для того чтобы понять значение творчества поэта во всей его величине, нужно обладать неким специфическим «панорамным» зрением (термин академика Д.С. Лихачёва), дающим возможность увидеть одновременно все леса, горы и низменности его поэтического ландшафта — от тихой лирики до пламенной гражданственности и озорной сатиры. Именно тогда становится понятным, о чём у поэта болела душа, чем он её врачевал и как защищался от злобы века.

Казалось бы, уж кого-кого, а Николая Дмитриева к «замолчанным» поэтам отнести невозможно — о нём и его творчестве довольно много писали и при жизни, и после его неожиданной смерти. Соблазнительная для любителей эффектного цитирования, его поэзия представлялась многим весьма простой и лёгкой для понимания и чаще всего сводилась к разбору ранних лирических стихотворений с почти хрестоматийными строчками о молодом учителе литературы, приехавшем работать в сельскую школу: «И девчонка (вы учтите), / лишь под вечер свет включу: / «Выходи, — кричит, — учитель, / целоваться научу!»

Но не случайно сказано: «Большое — видится на расстоянии», — вот и поэзия Николая Дмитриева с каждым новым погружением в неё открывает читателю всё новые смысловые уровни и новые философские глубины, показывая нам его поэтическую мощь во всей её полноте и неординарности. Читая сегодня стихи Н. Дмитриева, собранные в его посмертной книге «Очарованный навек» (М.: Издательский дом «Московия», 2007), отчётливо видишь, как сильно ранили поэта происходящие с Россией в перестроечное время перемены, превращавшие горячо любимую им великую Родину в подобие бедной нищенки. «Свобода слова, говоришь, / и всяческой приватизации? / Москва похожа на Париж / времён фашистской оккупации», — с беспощадной точностью писал он в стихотворении «Москва. 1999 год». «— Опять с тобой одни несчастья, — / ты сам себе торопишь гроб, / ты распадаешься на части, — / жена мне правду тычет в лоб. — // Как ты, твоя в запое муза, / и я ей дверь не отворю! / — На мне сказался крах Союза, / распад державы! — говорю», — с горечью признавался он в другом своём предельно исповедальном стихотворении.

Да только вот российская столица в это время никаких стихов уже не читала...

Не входя в число тех, кто за брошенные им с барского стола подачки в виде дармовых поездок на Франкфуртские или Парижские книжные ярмарки усыпил свою совесть и на все лады воспевал достоинства импортированной с Запада демократии да сомнительные прелести «общечеловеческих ценностей», Николай Дмитриев с максимальной прямоотой и обнажённостью говорил в своих стихах том, что видел вокруг себя в бездумно реформируемом ельцинской командой Отечестве. «И узрил я: клубится пар. / Резвятся бесы, и угар — / привычно отроки вдыхают. / В почёте смертные грехи; / и те в том сонмище плохи, / кто плохо Русь святую хает...»

Хаять то, что он искренне любил, Николай не умел и не хотел, да, честно говоря, если что-то и заслуживает порицания поэта, так это как раз наша сегодняшняя действительность, оставляющая после себя не великие культурные памятники и шедевры, а только... Впрочем, лучше, чем сказал об этом сам поэт, всё равно не скажешь: «На ладони зябнущие дующий, / что увидит археолог будущий, / наш культурный слой разбередив? / Пулю, жвачку и презерватив?..»

Материальное обнищание народа — плохо, но всё-таки терпимо. Развал экономики страны — это трагедия, но всё же поправимая. Даже невиданное в истории России убывание народа по одному миллиону человек в год — и то представляется восполнимым в будущем за счёт рождения новых поколений. А вот измельчание культуры, подмена высоких и чистых заповедей бандитскими законами — это в понимании поэта явление катастрофичное. «В ходу теперь по всей Руси / заветы урок умудрённых, / приметь трёх козырей крапленых: / «Не верь», «не бойся», «не проси». // Они годны в любом углу / среди всесветной мглы и стужи. / Попросишь — влипнешь в кабалу. / Сробеешь — то же. Или хуже. // А если во поле глухом / поверишь чьим-то горьким вздохам — / смотри! — очнёшься лопухом / или маслиной дикой — лохом...»

Поэт живёт не в изолированном мире, он видит то же, что и все мы, просто его душа воспринимает всё острее и больнее — и нищих на московских улицах, и процветающих мафиози, и торгующих своим телом красоток, и безостановочно льющиеся с телеэкранов ложь, пошлость, цинизм и развращение духа. Может, это сбылась сказка Василия Макаровича Шукшина и бесы вправду захватили Россию, как оставленный стражником монастырь? И что теперь — простить им это надругательство над Родиной? «Глянь: из полированного ящика / в душу, словно в нищую суму, / сыпят, сыпят стукоток изященько / сто чертей в клубящемся дыму. // Знаю: бесам выпадет, что следует — / мне об этом звёзды говорят! / Не прощай им, Боже, ибо — ведают, / ведают, собаки, что творят!»

Самое страшное для бесов — это обнажающий их сущность свет правды, поэтому они и стараются опутать человека ложью, называя белое — чёрным, а чёрное — белым. Поэт же не приемлет их лжи и называет вещи своими именами, вступая тем самым в борьбу со злом и накликаая на себя гнев мировой нечисти. Не всякая душа способна на такой подвиг. И не всякое сердце в состоянии выдержать эту борьбу и не разорваться...

Не случайно в первые годы горбачёвско-ельцинской перестройки нас всеми правдами и неправдами (причём неправдами – во много раз больше, чем правдами) старались оторвать от героического прошлого нашей Родины, охаивая победы наших отцов и дедов и превращая великую российскую историю в некое вселенское посмешище и страшилище. Архитекторы и прорабы перестройки понимали, что без этого никаких кардинальных перемен в стране им осуществить не удастся, так как народ, в котором живёт память о величии его Родины, не позволит превратить эту Родину ни в сырьевую базу, ни в публичный дом, а вот когда он сам начнёт брезгливо кривить губы и говорить о своей Родине «эта страна», тогда с ним можно делать всё, что угодно – распустить его армию, грабить недра, вывозить за границу золотой запас, учёных мужей и лучших красавиц.

В отношении Николая Дмитриева этот циничный приём был заведомо бессильным, потому что он, как, может быть, никто другой из представителей поколения 1950-х, был связан своей душой и поэзией с Великой Отечественной войной, напитавшей кровью советских воинов не только российскую землю, но и его собственную память. «В пятидесятых рождены, / войны не знали мы, и всё же / все мы в какой-то мере тоже / вернувшиеся с той войны, – нисколько не позируя, писал в одном из своих стихотворений, когда ему был ещё только 21 год. – С отцом я вместе выполз, выжил, / а то в каких бы жил мирах, / когда бы снайпер батьку выждал / в чехословацких клеверах?!»

Ему незачем было слушать никаких экономистов, рисующих преимущества рыночной экономики, и не было необходимости читать высокоумные рассуждения о том, «как нам обустроить Россию», потому что у него был другой собеседник – из тех, кому не нужны никакие изощрённые аргументы, потому что он насквозь видит их лживую сущность, и от кого не заслониться никакими витиеватыми словами о демократии и гласности. Этот собеседник – его умерший отец, тот самый, что проливал свою кровь в «чехословацких клеверах» ради того, чтобы сын жил в свободной стране и не зависел от чужеземной воли. «Осталось уж не так и много / скрипеть до смертного конца. / Я знаю: у того порога / увижу хмурого отца. // Увижу орденские планки, / увижу ясные глаза. / Он заставлял чужие танки / коптить родные небеса. // И спросит он не без усилия, / вслед за поэтом, боль тая: / – Так где теперь она, Россия, / и по какой рубеж твоя?..»

Питая свою душу такой памятью, предать свою Родину невозможно.

Питая свою душу такой памятью, очень трудно вот так запросто взять – и соврать себе, сказав, что всё вокруг хорошо, когда на самом деле на твоих глазах погибает Отечество. Себе-то, может быть, соврёшь, но можно ли обмануть глядящего тебе в душу из прошлого отца? Он-то видит оттуда – правду...

Есть в поэзии Николая Дмитриева один тематический пласт, в который убегаешь, как в светлую сказку, хотя там вроде бы и нет никаких особенных чудес, и вообще всё очень обыденно и просто. Но там царят мир, любовь и

покой, и это счастливое место называется детством. Чаще всего оно возвращается к поэту во сне, даря ему щемящие воспоминания о невозвратной радости бытия. «Снятся мне родины чёрные липы, / детство, болота полночные всхлипы, / отсвет реки на стене. / Дым с огородов и утро цветное / снятся так ясно, что всё остальное / словно я видел во сне».

Детская память поэта удержала не многое – не потому, что остальное забылось, а потому, что его и было-то в жизни не очень много, но то, что в ней было – было настоящее, не поддельное, не купленное за доллары и не увиденное по телевизору, а потому и впитанное в самую глубину души. Поэтому память о нём и лечит поэта в его взрослой жизни, даря ему успокоительный и животворящий свет: «Успокойся, трудное сердечко, / вспомни в толкотне и суете: / ножиком скоблённое крылечко / дождиком пропахло в темноте», – со сладостью вспоминает он простейшие, казалось бы, вещи, а от этих простейших вещей так светло и горько замирает душа. Не вернуть... ничего уже невозможно вернуть назад, перенеся в эту жизнь из прошлого.

Но значит ли это, что вот так же навсегда осталась теперь в прошлом и Россия – и её уже никогда не воскресить для счастливых весёлых песен, для радостного общинного труда «всем миром» или боевого подвига? Оглядываясь взглядом всё, что впитала в себя его поэтическая душа – от этого скоблённого ножом до белизны крылечка и до дымящихся чёрным дымом подбитых отцом вражеских танков, – Николай Дмитриев говорит: нет, Родина не погибла. «Силы есть для жизни, для стиха, / не сметёт вовек ни Чудь, ни Мерю, – / в то, что не воскреснет Русь, – не верю, / не возьму я на душу греха».

И ему, ни единого разу не совравшему и не сфальшивившему на протяжении всего своего творчества, не поверить в сказанное в этом четверостишии просто нельзя. А значит, так всё на самом деле когда-нибудь и будет, и мы увидим однажды воскресшими и Чудь, и Мерю, и всю нашу Святую Русь. Как бы её кто-то сегодня ни охаивал...

Николай ДМИТРИЕВ
(1953-2005)

НЕ ВОЗЬМУ Я НА ДУШУ ГРЕХА

* * *

Мне было всё дано Творцом
Без всяких проволочек:
И дом с крыльцом,
И мать с отцом,
И складыванье строчек.

Россия – рядом и – в груди,
С мечтой о новом Спасе,
С тысячелетьем позади
И с вечностью в запасе.

Мне было всё дано Творцом:
И у скворечни скворчик,
И дом с крыльцом,
И мать с отцом,
И складыванье строчек.

И вот теперь сказать могу
(Не за горами старость),
Что всё досталось дураку,
Всё дураку досталось.

* * *

Сжалась Родина, но вроде
Велика ещё пока,
Как в четырнадцатом годе,
В этом роде велика:
Там – пируют,
Там – крадут,
Там – головушки кладут,
До последнего снаряда
Защищая свой редут.

* * *

«Пиши о главном», — говорят.
Пишу о главном.
Пишу который год подряд
О снеге плавном.

О жёлтых окнах наших сёл,
О следе санном,
Считая так, что это всё —
О самом-самом.

Пишу о близких, дорогих
Вечерней тьмой,
Не почитая судьбы их
За мелкотемье.

Иду тропинкою своей
По всей планете.
И где больней, там и главней
Всего на свете.

* * *

В то, что не воскреснет Русь, — не верь,
Копят силы и Рязань, и Тверь.
На Рязани есть ещё частушки,
Есть ещё под Вологдой чернушки,
Силы есть для жизни, для стиха,
Не сметёт вовек ни Чудь, ни Мерю, —
В то, что не воскреснет Русь, — не верю,
Не возьму я на душу греха.

* * *

*«Подует ветер. Сосен тёмный ряд
Вдруг зашумит, застонет, занеможет...»*

Н. Рубцов

Маклер, брокер, рокер, покер —
Русский стих как будто помер.
Мне капиталист один
Объясняет без заминок:
— Цепь нужна: болото — рынок,

Клюкву Родине дадим.
Продадим своим емелям
Клюкву в пудре. Сахар смелем
В кофемолках.
Светлый ум!
– По рукам!
Не кормят строчки.
Но отдай ты мне в цепочке
Тот конец, где сосен шум.
Я люблю и дождь, и слякоть,
Я люблю бидоном звякать
Между кочек-островков.
Там стихи свисают с веток,
Там они плывут в просветах
Тяжеленных облаков.

* * *

Цыганка нагадала мне,
Что я проснусь в чужой стране,
Но я схитрил и не проснулся.
Бреду сквозь милосердный сон,
И вот влекущий чудный звон,
Небесный гул ушей коснулся.

В какой-то светоносной тьме
Возникла церковь на холме,
Она, как девушка босая,
В безглазье внешней темноты
Густые звоны, как цветы,
Во все концы земли бросала.

На холм святой стекалась рать
Под уговор: мечей не брать,
И вот уже переминалась
Людская скорбная стена
От Сергия до Шукшина,
А дальше не припоминалось.

Туман текучий моросил.
– Вы тоже спите? – я спросил,
И предо мной явилось блюдце:

– По краю яблочко катни,
И узришь ты дела и дни
Всех, не умеющих проснуться.

И узрил я: клубится пар,
Резвятся бесы, и угар
Привычно отроки вдыхают.
В почёте смертные грехи,
И те в том сонмище плохи –
Кто плохо Русь святую хает.

И мне сказал незримый страж:
– Молись, коль помнишь «Отче наш»,
Коль что-то из такого помнишь.
Молись за них. Они горят
В аду земном, и что творят –
Не ведают. А где им помощь?..

Николай ПЕРЕЯСЛОВ

НЕВОЗМОЖНОСТЬ КРИТИКИ

Критика – это Силиконовая Долина литературы, где перекрещиваются, суммируясь, интеллектуальные усилия лучших аналитиков, перелопачивающих ради проникновения в тайны рождения литературных шедевров тонны добытой поэтами и прозаиками «словесной руды». Выявляя тенденции развития мировой и отечественной литературы, критики не просто констатируют появление новых художественных методов и направлений, но предсказывают (и подсказывают писателям), куда повернёт и как будет развиваться отечественный литературный процесс завтра. Таким образом, критика выступает в роли науки, разрабатывающей новые творческие направления и технологии, а литература – в роли производства, воплощающего эти технологии в реальные произведения...

Но это – в идеале.

На деле же сегодняшние критики больше всего похожи на таких рыночных зазывал на нашем перенасыщенном халтурой и подделкой литературном Черкизоне. Они даже не торгаши, что было бы ещё простительно в век всеобщей коммерциализации жизни и культуры. Они – лишь прислужники у этих торгашей, которые подобно продажным экспертам-товароведам, без зазрения совести ставящим штамп со словами: «Соответствует качеству высшего сорта» на колбасе из геномодифицированной сои вместо мяса, рекомендуют читателям откровенно вредные для души и сознания литературные блюда типа владимирсоросорокинских «Сердце четырёх», баяноширяновского «Срединного пилотажа», а то и какую-нибудь ещё более небезопасную продукцию.

Даже самые серьёзные и, на первый взгляд, вполне объективные критики при ближайшем рассмотрении оказываются всё теми же пиаро-зазывалами, бьющимися за раскрутку товара или автора, в котором они по тем или иным причинам горячо (и почему-то кажется, что не совсем бескорыстно) заинтересованы. Если снять заполняющие объём их статей рассуждения о литературных поколениях, патриотизме, символизме, постмодернизме, православности, современности и иных параметрах анализируемой литературы, то на поверку останутся только привычные глазу «обоймы» имён или единичные фигуры авторов, беззастенчиво протезируемых каждым отдельным критиком в соответствии со своими вкусами и целями. Совершается это, как правило,

абсолютно вне какой бы то ни было проекции их творчества на историю отечественной литературы, вне анализа его в рамках традиционных литературных школ, вне какой бы то ни было системы вообще, а исходя единственно из собственных (в лучшем случае – идейно-эстетических, а по большей части – корпоративно-групповщинных или сугубо личных) интересов и симпатий. Ну вот как поверить, что в высшей степени искушённые в тонкостях литературного мастерства Владимир Бондаренко или Капитолина Кокшенёва действительно причисляют к разряду серьёзной литературы предельно слабые, на мой взгляд, в художественном отношении сочинения Александра Потёмкина – состоятельного бизнесмена, заполняющего свой досуг написанием откровенно дилетантских, почти антихудожественных опытов, которые он издаёт в специально созданном им для этого персональном издательстве «ПоРог», как бы опасаясь, что никакое другое издательство печатать подобную литературу не будет. Может быть, ситуация станет немного понятней, если мы вспомним, что Александр Потёмкин (не будем забывать о его состоятельности!) входит в круг первых лиц учреждённого в 2009 году Гражданского литературного Форума, где его окружают всё те же В. Бондаренко, К. Кокшенёва и другие пропагандисты его творчества. Ведь всякое общественное движение, как известно, острее всего нуждается именно в надёжном спонсоре – так что же удивляться тому, что критики хвалят своего потенциального «кормильца»?..

Впрочем, не буду сосредотачиваться здесь на своих собственных догадках, поскольку, во-первых, они носят исключительно интуитивный характер, а, во-вторых, побудительным импульсом к написанию этой статьи послужило совсем не это. Взяться за перо меня заставила проблема упорного не превращения нашей критики в Силиконовую Долину отечественной литературы и стремление понять, почему это превращение является сегодня невозможным. Казалось бы, сам Президент дал отмашку к началу модернизации всей страны, Сколково упоминается в наши дни чаще, чем предолимпийский город Сочи, вот тут-то бы критике и вырваться на передний край писательской жизни, сплотить критические перья да повести литературу вперёд и вверх – к открытию новых стилей, истин, талантов...

Однако вот, что странно. В американскую Селиконовую Долину стягиваются люди со всех концов света, выросшие на различных культурах, говорящие на разных языках и наречиях, но там они быстро обретают общий для всех язык, единую систему ценностей и необходимое для конструктивной работы взаимопонимание. И совсем по-иному обстоит дело в нашей изящной словесности, где представители одной страны, выросшие на общем языке, общей культуре и общих базовых ценностях, ступив на поприще литературной критики, мгновенно сужают свою критическую перспективу до внимания к творчеству очень узкого круга своих друзей и единомышленников, меняя общепринятый литературный язык на язык специальных символов, понятных, главным образом, почти исключительно среди адептов того литературного направления, к которому

принадлежит сам критик, и того художественного метода, который исповедует он и его окружение. Постмодернист, рассматривая произведение реалиста сквозь призму постмодернистских вывертов, не увидит в нём ничего, кроме закослелого копирования действительности. Реалист, анализируя сочинение постмодерниста с позиций традиционной русской литературы, не обнаружит в нём ничего, кроме нарочитого выпендрёжа и пустоты. И такое непонимание царит практически между всеми руслами ветвящегося литературного процесса, приводя ко всё большей обособленности и клановости большинства так называемых «толстых» литературных журналов, которые всё сильнее напоминают собой сегодня некие закрытые масонские ложи. (Особенно грустно наблюдать это в отношении журналов патриотического толка, как раз на борьбе с масонством и сделавших себе имя у читающей публики...)

Ситуация до боли напоминает знаменитую библейскую историю о строительстве Вавилонской башни, когда разделил Господь народы по языкам – и перестали они понимать друг друга, а, перестав понимать, не смогли продолжать начатое ранее грандиозное общее дело по возведению башни, которая соединила бы землю с небом. Нечто подобное произошло также во время феодальной раздробленности в Древней Руси, когда каждый князь, пытаясь увековечить свою собственную правоту и значимость, культивировал в одном из подвластных ему монастырей своё собственное летописание, выворачивая события той поры в выгодном ему свете и не согласовывая их с историей остальной Руси. Эту ситуацию «выправило» обрушившееся на русские земли монголо-татарское иго, общенациональный трагизм которого на долгие годы вперёд стал общим фоном и общей точкой отсчёта для всех литературных и исторических трудов, подтолкнув россиян к единению и созданию общего государства.

Похожее «разделение языков» случилось и в послереволюционные годы, когда сначала февральская победа над самодержавием, а затем и окончательное восторжествование советской власти спровоцировали невиданное раскрепощение всех видов творческой свободы, вылившееся в создание огромного множества противоборствующих между собой ЛЕФов, РАППов, «Кузниц», «Звонниц», акмеистов, имажинистов, авангардистов, футуристов, конструктивистов и целого ряда других литературных кружков и течений, разбивших единый массив молодой советской литературы на дерущиеся между собой, не слышащие и не понимающие друг друга группы, группки и группочки. Глухота представителей одного литературного стана по отношению к представителям другого была просто поразительной, и ликвидировать это непонимание оказалось возможно лишь волевым усилием государства, положившего конец этой губительной для культуры вражде путём создания единого для всех Союза советских писателей и признания его членами метода социалистического реализма в качестве главного творческого орудия писателей Страны Советов.

Сегодня можно бесконечно много (и во многом правильно) говорить о минусах этого отнюдь не идеального художественного метода, но бесспорно одно — он на долгие годы обеспечил молодое советское искусство жизненно необходимой ему единой для всех мастеров пера системой не только идеологических, но также эстетических и нравственных координат, позволив ликвидировать критическую разногласицу и установить общие критерии оценивания литературных произведений. Нельзя не признать, что посредством этого метода был создан огромный ряд произведений, принёсших СССР заслуженную мировую литературную славу, и пока что, несмотря на отсутствие цензуры и полную свободу творчества, не было написано ничего более значимого, чем в эпоху социалистического реализма.

Ныне ситуация с взаимной глухотой вновь повторяется. И хотя былой вавилонской гордыни нет уже, кажется, и в помине (да и удивлять небеса вроде бы тоже уже никто серьёзно не планирует), однако вавилонское «разделение языков» всё ещё продолжает сохраняться. Каждый из сегодняшних критиков говорит, как правило, абсолютно не слыша и не слушая других, а только вовсю пиаря «обоймы» своих литературных друзей и знакомых. Главная задача почти каждого критика заключается в том, чтобы выскочить на страницы «своего» издания, пропеть хвалу «своим» литературным соратникам да бросить ком грязи в соперников, а лучше — вообще не упоминать никого из «чужих», создавая тем самым у читателя убеждение, что никого-то, мол, в общем, в нашей сегодняшней литературе, кроме упоминаемых им авторов, больше и не существует... При этом критик каждого лагеря свято помнит о табуированности имён своих литературных «гуру», разрешая себе только в одических тонах говорить о творчестве таких авторов как Юрий Кузнецов, Иосиф Бродский, Андрей Битов, Василий Белов и некоторых других писателей, являющих собой своего рода «иконы», символизирующие собой творческие вершины тех или иных писательских союзов и группировок.

А литература тем временем буксует и стоит на месте, потому что почти все вчерашние творческие наработки использованы, экспериментальные ходы опробованы и в большинстве случаев забракованы и отброшены, а никаких серьёзных исследований дальнейших путей развития литературы уже давно не ведётся. Нынешняя критика откровенно боится смотреть на современную литературу как на часть единого — многовекового — литературного процесса, начатого ещё первыми древнерусскими летописцами, составителями житий русских святых да сочинителями духовных стихов типа «Голубиной книги» или «Плача Адама». Сегодняшним литературным критикам просто катастрофически не хватает смелости говорить правду своим коллегам. А ещё — интереса к тому, что делается на соседнем литературном поле. Да и вообще в литературе. Даже затеянная не так давно «Литературкой» крайне своевременная и важная дискуссия о реализме прошла, вопреки ожиданиям, как-то бесцветно и вяловато, так и не сумев стать поворотным моментом в сегодняшнем литературном процессе. Хотя

она, казалось, открывала прекрасную возможность посмотреть на то, что же оказывает друг на друга большее влияние – реальная жизнь на реализм и его образы, или же создаваемые реализмом картины – на нашу завтрашнюю реальность? Ведь не исключено, что это именно писатели провоцируют своими книгами будущие революции, кризисы, перестройки, дефолты и всё то, что наполняет нашу жизнь радостью или отравляет её, как прогресс отравляет окружающую среду. Кто же это отследит, проанализирует и скажет об этом, если не критики?..

Чтобы судить о поэте или прозаике, надо видеть, какую традицию он продолжает, что он привнёс в неё нового и куда ведёт вектор её дальнейшего развития. Русская литература – это какой-то невероятный симбиоз традиции и новаторства, поединок между верлибром и сонетом, попытка сделать литературу исключительно средством развлечения и противостоящее ей стремление к обязательному наличию социально-философской глубины произведений. Борьба между этими направлениями идёт непримиримая, непрекращающаяся и, к сожалению – нечестная. Хотя самые блестящие результаты в литературе даёт именно пересечение перечисленных выше категорий.

Там, где верх берёт стремление исключительно к одной только содержательности и важности поднимаемых тем, литература неизбежно скатывается в предсказуемость, начинает повторять саму себя, грешить нудной назидательностью и, попросту говоря, становится скучноватой. Так, к сожалению, во многом происходит сегодня с творчеством последователей замечательного русского писателя Валентина Распутина, пытающихся вырастить что-то значительное на давным-давно истощившемся художественном поле.

На другом конце этой проблемы – пример недавно ушедшего от нас поэта Андрея Вознесенского, творчество которого самоубийственно демонстрирует собой, как постоянная погоня за оригинальной формой неотвратимо съедает собой сам смысл творчества, вытесняя из стихов их глубинную философскую сущность. Придя в этот мир, несомненно, ярким и талантливым поэтом, он свёл к концу жизни свой необыкновенный дар к какой-то незамысловатой игре в плохо зарифмованные поэтические «крестики-нолики». Критикам, которые и в самом деле болеют за высокую духовную миссию русской литературы (неважно, из какого они стана – либерального или почвеннического), вспоминая сегодня ушедшего от нас поэта, следовало бы хорошо поразмышлять на его примере о том, что более вредно для литературы – выющиеся, точно улитки в разрезе, пустышки-видеомы или традиционные с виду, но еретические по своей сути строки из «Озы», в которых поэт, обращаясь к образу Владимирской Божьей Матери, призывает Богородицу выступить в роли этакой сводницы, помогающей склонить к греху объект воздыханий персонажа его поэмы: «Мать Владимирская, единственная, / первой молитвой, молитвой последнюю / я умоляю – стань нашей посредницей! / Неумолимы зрачки её льдистые... // Видишь – лежу, почернел, как кикимора, / всё безысходно, осталось одно лишь – / грохнись

ей в ноги, Мать Владимирская, / может, умолишь, может, умолишь». Наверное, это не было бы так вредно, если бы не было написано так сильно. Но созданные талантом Вознесенского строчки намертво впиваются в подсознание читателя и от того их токсичность становится ещё более опасной.

Но возможна ли критика – без способности говорить правду? Возможен ли серьёзный разговор о литературе – без оглядки на понятия «свой» и «чужой»? Судя по тому, что сегодняшние критики по-прежнему продолжают обслуживать только обитателей одной, обжитой лично ими литературной «улицы» – вряд ли. А без этого не только существование, но даже и само понятие критики представляется практически невозможным. Разве что опять нагрянут на Русь какие-нибудь новые монголы, и принесённое ими всеобщее бедствие заставит нас оглянуться на нашу великую историю да отражающую её в себе великую литературу, в которой мы увидим реального, а не опостмодернистического Пелевиным комдива Чапаева да проникнемся воплощённым в нём духом борьбы за всенародное счастье. Или же – государство, наконец, в очередной раз обратит внимание на свою утратившую величие литературу и возвратит её президентским Указом в русло классической строгости, одухотворённости и социальной значимости. Что было бы на пользу и писателям, и читателям, и всей нашей отечественной культуре, которая как раз и являет собой один из тех основных компонентов, которые обеспечивают собой стабильность (или, как вариант – расшатанность) государства...

Пока же этого не произошло, современная российская критика находится в категории абсолютной невозможности, и ждать от неё каких-то существенных открытий не приходится.

Сергей ЧЕРНЯЕВ

(1970-2002)

ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО

ВЕЧЕРНИЕ ТЕНИ

Солнце янтарною градиной
Пометило землю в висок
Расстригою-ветром украдена
Песня у сонных осок

Вечер с губною гармошкой
Плетётся в закат как в кабак
Рассыпав не короб с морошкой
А звёзды на радость зевак

САДОВНИК СНОВИДЕНИЙ

Узорчатой тенью древних лип
Меня в наш ветреный сад
Заманит вечера детский всхлип
В объятых незримых оград

Я часто стопами узлы дорог
Вязал судьбе вопреки
Но в сад я войду как входят в острог
Согбенные старики
Мечтая ладонью изведать ожог
От солнца твоей руки

ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО

День
 Замедляя
 Походку
 По выгону шёл
 Да упал
 А я
 Луну
 Как молодку
 Зазываю
 На сеновал
 Не буду
 Ни резким
 Ни грубым
 И косы ей
 По волоску
 Расплету
 Но холодные губы
 Насквозь
 Прожгут мне
 Щеку
 Соломой
 Её залатаю
 Умерю
 Весёлую прыть
 Штука
 Видать
 Непростая –
 Краль
 Поднебесных
 Любить

СИДЕЛКА

Как лукавица и беззаконница
 Как незванейшая из гостей
 Примостится сиделкой бессонница
 У изножья постели моей

Дескать вот отыскала охочего
 Разделить с ней никчёмный улов

И давай мне ум обморочивать
Беленою украденных слов

Только образ твой будет высвечивать
Из мозаики памятных фраз
Пусть уж лучше раз делать ей нечего
Мне разгладит морщины у глаз

КОВЧЕГ ДЛЯ ДВОИХ

Ночами меня ты учила летать
Крылом прикасаясь к крылу
Станным ковчегом всплывает кровать
В седую рассветную мглу

Наверно я слишком тяжёл на подъём
Даже в четыре руки
Я криком кричу в сновиденьи твоём
Падая в лапы раки

Мне больше к лицу капитанский чин
На мостик мой млечный взгляни –
Ты звёзды считаешь грустя без причин
На палубе простыни

Мечтал я крылатый построить ковчег
До райских врат долететь
Но только с тобою замыслю побег
Как утро нас ловит в сеть

В МАСТЕРСКОЙ ПОЛНОЧИ

Из мрамора полночи
Пробует высечь
Тростник своё имя
Крылатою искрой
Но ропот теней –
Безымянных тысяч
Прибоем вскипает
Недрёмно и близко

О берег мгновения
Волны столетий
Бьются теснясь
В объятиях пирсов
Чтобы ракушкой
В вечности сети
Образ твой вкраплен был
Или вписан

В утра скрижали
Звездой падучей
Последним лучом
Ночного светила
Пусть торжествует
Судьба а не случай
В сердце
Которое ты посетила

Борис РЫЖИЙ
1974-2001

В РОССИИ РАССТАЮТСЯ НАВСЕГДА

МУЗЕ

Напрялим чёрный фрак
и тросточку возьмём –
постукивая так,
по городу пойдём.
Где нищие, жлобье,
безумцы и рвачи –
сокровище моё,
стучи, стучи, стучи.
Стучи, моя тоска,
стучи, моя печаль,
у сердца, у виска
за всё, чего мне жаль.
За всех, кто умирал
в удушливой глуши,
за всех, кто не отдал
за эту жизнь души.
Среди фуфаяк, роб
и всяческих спецух
стучи сильнее, чтоб
окреп великий слух.
...Заглянем на базар
и в ресторан зайдём –
сжирайте свой навар,
мы дар свой не сожрём.
Мы будем битый час
слоняться взад-вперёд.
...И бабочка у нас
на горле оживёт...
1996, март

ПРИВЕТСТВИЕ

Фонарный столб, приветствую тебя.
Для позднего прохожего ты кстати.
Я обопрись плечом. Скажи, с какой
Поры
Пути нам освещают слёзы?
Мне только девятнадцать, а уже
Я точно знаю, где и как погибну —
Сначала все покинут, а потом
Продам все книги. Дальше будет холод,
Который я не вынесу.
Старик,
В твоих железных веках блещут слёзы
Стеклянные. Так освети мне путь
До дома —
пусть он вовсе не тернистый —
Я пьян сегодня.

1993, октябрь

ВДОЛЬ КАНАЛА

Когда идёшь вдоль чёрного канала
куда угодно, мнится: жизни мало,
чтоб до конца печального дойти.
Твой город спит. Ни с кем не по пути.
Так тихо спит, что кажется, возможно
любое счастье. Надо осторожно
шагать, чтоб никого не разбудить.
О, господи, как спящих не простить!
Как хочется на эти вот ступени
сесть и уснуть, обняв свои колени.
Как страшно думать в нежный этот час:
какая боль ещё разбудит нас...

1996, июнь

...Здесь до войны
был женский монастырь
и кладбище с прекрасными крестами.
Потом был парк, а нынче тут — пустырь

под бледно-голубыми небесами.
 И я всегда, когда гуляю здесь,
 воображаю с некой страшной силой:
 в осеннем парке, летнем ли, бог весть,
 монахиню над чёрною могилой.
 И думаю: о жалкие умы,
 предметы не страшатся разрушенья —
 вернее, всё, что разрушаем мы,
 в иное переходит измеренье.
 И мне не страшно предавать словам
 то чувство, что до горечи знакомо.
 И я одной ногой гуляю там,
 гуляя здесь. И знаешь, там я дома.
 1996, март

ТРАМВАЙНЫЙ РОМАНС

В стране гуманных контролёров
 я жил — печальный безбилетник.
 И никого не покидая,
 стихи Иванова любил.
 Любил пустоты коридоров,
 зимой ходил в ботинках летних.
 В аду искал приметы рая
 и, веря, крестик не носил.
 Я ездил на втором и пятом,
 скажи — на первом и последнем,
 глядел на траурных красоток,
 выдумывая имена.
 Когда меня ругали матом —
 каким-нибудь нахалом вредным,
 я был до омерзенья кроток,
 и думал — благо, не война.
 И стоя над большой рекою
 в прожилках дёгтя и мазута,
 я видел только небо в звёздах
 и, вероятно, умирал.
 Со лба стирая пот рукою,
 я век укладывал в минуту.
 Родной страны вдыхая воздух,
 стыдясь, я чувствовал — украл.
 1995, июль

* * *

В России расстанутся навсегда.
В России друг от друга города
 столь далеки,
что вздрагиваю я, шепнув «прощай».
Рукой своей касаюсь невзначай
 её руки.

Длиною в жизнь любая из дорог.
Скажите, что такое русский бог?
 «Конечно, я
приеду». Не приеду никогда.
В России расстанутся навсегда.
 «Душа моя,

приеду». Через сотни лет вернусь.
Какая малость, милость, что за грусть
 мы насовсем
прощаемся. «Дай капельку сотру»,
Да, не приеду. Видимо, умру
 скорее, чем.

В России расстанутся навсегда.
Ещё один подкинь кусочек льда
 в холодный стих.
...И поезда уходят под откос,
...И самолёты, долетев до звёзд,
 сгорают в них.

1996, апрель

ЗАВЕЩАНИЕ В.С.

Договоримся так: когда умру,
Ты крест поставишь над моей могилой.
Пусть внешне будет он как все кресты,
Но мы, дружище, будем знать с тобою,
Что это — просто роспись. Как в бумаге
Безграмотный свой оставляет след,
Хочу я крест оставить в этом мире.
Хочу я крест оставить. Не в ладах
Я был с грамматикою жизни.

Прочёл судьбу, но ничего не понял,
К одним ударам только и привык,
К ударам, от которых словно зубы,
Выпадают буквы изо рта.
И пахнут кровью.

1993, ноябрь

Благодарю за всё. За тишину.
За свет звезды, что спорит с темнотою.
Благодарю за сына, за жену.
За музыку блатную за стеною.
За то благодарю, что скверный гость,
я всё-таки довольно сносно встречен —
и для плаща в прихожей вбили гвоздь,
и целый мир взвалили мне на плечи.
Благодарю за детские стихи.
Не за вниманье вовсе, за терпенье.
За осень. За ненастье. За грехи.
За неземное это сожаленье.
За Бога и за ангелов его.
За то, что сердце верит, разум знает.
Благодарю за то, что ничего
подобного на свете не бывает.
За всё, за всё. За то, что не могу,
чужое горе помня, жить красиво.
Я перед жизнью в тягостном долгу,
и только смерть щедра и молчалива.
За всё, за всё. За мутную зарю.
За хлеб. За соль. Тепло родного крова.
За то, что я вас всех благодарю,
за то, что вы не слышите ни слова.

1996, март

Василь ШИРКО

ШУМИ, МОЙ ЛЕС, ШУМИ...

Если земля держится на трех китах, завод на рабочих высокой квалификации, сельхозколлектив на хороших механизаторах, то лесхоз, конечно же, на лесниках. В который раз вспоминаешь «Новую зямлю» великого песняра земли белорусской Якуба Коласа. Алесь Адамович, один из талантливейших, интеллектуальнейших писателей XX столетия, обратился к читателям с необычным вопросом. Допустим, предположил он, земная цивилизация вот-вот должна погибнуть. Каждой стране предложено оставить по одной книге. По ней будут судить о тех, кто жил в этой стране: о чем они мечтали, к чему стремились, об их быте, широте души. Какую книгу должны оставить белорусы? Адамович сам же ответил на этот далеко не простой вопрос: «Я оставил бы «Новую зямлю» Якуба Коласа».

Главный герой поэмы – лесник Михал. Его прототип – родной отец народного поэта Михаил Каземирович Мицкевич, служивший лесником в Ластоке и Альбути у князя Радзивилла. Лесник – звучит гордо. Получается, ни одна профессия так не прославлена в белорусской литературе, как профессия лесника.

Василий Николаевич замирает, когда звучит по радио песня Игоря Лученка «Мой родны кут». Коласовские слова песни западают в душу, тревожат, невольно возвращают в давно прожитые зимы и весны.

Мой родны кут, як ты мне мілы!..
Цябе забыць не маю сілы!
Не раз, утомлены дарогай,
Жыццём вясны маёй убогай,
К табе я ў думках залятаю
І там душою спачываю.
О, як бы я хацеў спачатку
Дарогай жыцця па парадку
Прайсці яшчэ раз, азірнуцца,
Сабраць з дарог каменні тыя,
Што губяць сілы маладыя,
К вясне б маёй хацеў вярнуцца.

Кто бы из нас не хотел вернуть безвозвратно ушедшую юность? Это невозможно, как по мудрому изречению философа, невозможно дважды ступить в одну и ту же реку. «А может быть, это и хорошо, что нельзя, – думает Василий

Николаевич, – повторяться неинтересно. Не так уж оригинален древний философ. Не только в реку, в один и тот же лес дважды не ступишь. Каждое многовение срываются с деревьев листья, погибает под ударами трудоголика-дятла мошка, вылупливается из личинки муравей, а из птичьего яйца высовывает клювик будущей соловей...»

Четверть века он, Шинкевич, как и Коласов Михал, оберегает лес от пожаров, на месте срубленных деревьев сажает новые. Он счастлив, что когда-то крутая, не без ухаб, дорога привела его в Крупский военлесхоз. Много воды утекло в Бобре с тех пор, немало знакомых нашли более денежные должности, кто-то учился и вырос по службе, а к его званию лесника прибавилась лишь приставка «ст.», то есть, старший лесник. Василий Николаевич ни о чем не жалеет. Он любит лес, и лес отвечает ему взаимностью. Совсем недавно подарил 25 больших ядерных боровиков. Все чистенькие, белее мела. И росли вместе на одной маленькой полянке.

– Спасибо, лес, – сказал вслух Василий Николаевич. – Я понимаю: это символический подарок. За каждый год службы – по боровику. Ей Богу, он не менее дорог, чем грамоты, часы, хрустальная ваза, полученные когда-то за честный труд.

Лес, кажется, понял его, зашумел, зашелестел громче, замахали ветками березы, осины; хоть даже маленького ветра не было – зашевелились листья на могучих дубах. Какая радость, какое счастье жить в единении с природой, как тот же Михал. Пока не перестанут шуметь леса Беларуси, возможно, и о нем, Василии Николаевиче Шинкевиче, будет жить память. Он уверен: деревья разговаривают на непонятном пока человеку языке. Со временем люди расшифруют этот язык, как расшифровали письменность индейцев майя. И тогда деревья расскажут человеку, а тех, кто их оберегал, защищал.

– Деду, – говорит пятилетняя внучка Лиза, – ты похож на молодой дубок: невысокий, кругленький, добрый...

Василий Николаевич смеется: ну, не худенький он, не баскетбольного роста, но уж кругленький – это слишком, перебор, да что возьмешь с внучки, права она в одном – он врос в родную землю, как этот дубок. Тут ему хорошо. Невольно приходят на память, знакомые еще со школьных лет строки:

Каля пасады лесніковай
Цягнуўся гожаю падквой
Стары, высокі лес цяністы.
Тут верх асіны круглалісты
Сплятаўся з хвоямі, дубамі,
А елкі хмурымі крыжамі
Высока ў небе выдзялялісь,
Таёмна з хвоямі шапталісь.
Заўсёды смутныя, бы ўдовы,

Яны найбольш адны стаялі,
 І так маркотна пазіралі
 Іх задуменныя галовы!
 Лес наступаў і расступаўся,
 Лужком зялёным разрываўся;
 А дзе прыгожыя загібы
 Так міла йшлі каля сялібы,
 Што проста імі б любаваліся.
 А знізу гэты лес кашлаты
 Меў зелянюсенькія шаты
 Лазы, чаромхі ці крушыны,
 Алешын ліпкіх, верабіны.
 Глядзіш, бывала, і здаецца,
 Што скрозь галін сцяну жывую
 Скрозь гэту тканку маладую
 Ні мыш, ні пташка не праб"ецца.

Описано, как великим художником запечатлено на полотне, или прекрасным мастером сфотографировано. Каждое слово на месте. Ни лишних красот, ни грамма фальши. Шумы, наш лес, шуми на радость всем живущим на земле сегодня и тем, кто придет на эту грешную землю завтра.

ВЕРНИ ОТЦА, РЕКА

Имена людей повторяются чаще, чем названия деревень. И это вполне объяснимо: жителей в Беларуси около десяти миллионов, а деревень где-то двадцать тысяч. Диву даешься: моя родная деревня не Заболотье, Борки (их десятки), а Чурилово, что, согласитесь, даже выговорить трудно, также не одна. Оказывается, поговорка «Не один Гаврила в Полоцке», придумана на все случаи жизни. Есть Чурилово в Бешенковичском районе, Верхнедвинском, Чуриловичи – в Минском.

Выдрица также не одна на Белой Руси. Есть деревня Выдрица в Оршанском районе, река Выдрица в Полоцком, большая деревня Выдринка в Краснопольском районе. Тут не надо иметь семь пядей во лбу, чтобы догадаться: название рек и населенных пунктов от выдры: красивого, с темно-коричневой спиной и светло-серебристым брюхом хищного зверка – любителя рыбы, жаб, моллюсков и даже раков.

Родители Василия Николаевича родом из Выдрицы, что в двадцати километрах от Крупок. В шутку ее называли Нью-Крупки: центр сельсовета, колхоза, средняя школа, клуб, библиотека, отделение связи. Более пятисот жителей проживало.

Крупскую Выдрицу в годы войны фашисты сожгли дотла. Тогда отцу и матери

Василия Николаевича было по тринадцать лет. Война поставила крест на их детстве. Голодали, мерзли в землянках, а когда пришло освобождение, постеснялись идти в школу. Стыдно пятнадцатилетним подросткам сидеть за одной партой с десятилетними мальчишками и девчонками.

Куда податься Николаю и Елене вопрос не стоял. Городу нужны были профессионалы, а какая профессия у подростков, проживших три года в оккупации? Да и кто отпустил бы их из колхоза? Голодной стране, армии, шагающей на запад, как воздух нужен был хлеб. Вот и вкалывали дети в колхозе, носившем имя Кирова, то ли убиенного врагами большевиков, то ли самими большевиками. Трудились, само собой, бесплатно: за трудодень, голую палочку в бригадирской тетрадке. Земли в Крупском районе, в основном, песчаные, да еще подстилаемые песками. По урожайности зерна он и сегодня держит одно из последних мест на Минщине. Не удивительно, что выживали выдринцы лишь благодаря приусадебным участкам, да рыбе в Бобре, грибам и ягодам в лесу, который подковой подступал к деревне.

Мать Василия, Елена Николаевна, была первой красавицей. Несмотря на дефицит женихов, за ней пытались ухаживать многие. Не один самостоятельный юноша, мечтавший создать семью, хотел, чтобы хозяйкой его дома, матерью будущих детей была Лена, «прыгажуня Алёна». Но почти всем ухажерам строптивая красавица давала от ворот поворот.

– Ты нас со всей деревней поссоришь, – злился отец, и тут же сменял гнев на милость, – на одних гарбузах разориться можно.

Они смеялись. Это на Украине обычай вручать горе-жениху гарбуза, а деликатные белорусы намекают свату: надо подождать, дочь совсем дитя, да и приданное еще не приготовили.

Свой выбор Елена остановила на ровеснике Николае. Он нравился ей еще со школьных довоенных лет. Живой, веселый, а главное, трудоголик: сколько не ищи – второго такого не найдешь.

Правда, злые языки поговаривали, что Лена остановила свой выбор на Николае по расчету: интеллигентная профессия у него. Не пытайтесь, читатель, догадаться какая. Небось, думаете – учитель, ветврач, в крайнем случае, агроном. Ничего подобного – механизатор. Во, как! Люди при конях, коровах, свиньях, а он при технике. Неважно, правы злопыхатели аль нет, но Елену простушкой уж никак не назовешь.

Жили молодые душа в душу. Родили няньку, а потом ляльку. Старшая сестра опекала младшего братца Васю. Николай Александрович и Елена Николаевна едва ли не весь световой день трудились на благо далеко не передового колхоза имени Кирова, а до восхода солнца и поздним вечером пахали на себя: пололи грядки, ухаживали за домашним скотом. Дети как бы росли сами по себе. Покормлены, одеты кое-как и то хорошо.

Между тем, судьба готовила семье Шинкевичей страшное испытание. Николай Александрович 28 апреля переправлялся на лодке через разлившийся бурный

Бобр из Выдрицы в Прудок. Дощатая лодка протекала, плохо держалась на воде. Налетел, неведь откуда взявшийся ветер, вода вспенилась, быстрое течение подхватило лодку-душегубку, и она, словно пушинка, подхваченная неведомой силой, накренилась, зачерпнула воды, и в одно мгновение перевернулась, накрыв людей. Спасти не удалось никому.

Мать убивалась, рыдала, просила Бобр вернуть мужа. На руках двое малых детей, она ждет третьего ребенка. Одной малышкой не поднять. Но притихший, словно признавший свою вину, Бобр, как и раньше, невозмутимо нес свои воды.

Местный учитель считал, что всему виной магия чисел. Николай Александрович и Елена Николаевна родились в 1929 году. Через 29 лет, почти 29 апреля случилась беда. Но разве от этого легче? На дворе стоял голодный 1958 год.

МАМА, МИЛАЯ МАМА...

В Выдрице богатеньких Буратино не было. Все перебивались с хлеба на квас, все ходили в резиновой обуви, которая постоянно протиралась, рвалась. Самым дефицитным товаром был клей. Летом взрослые и дети ходили босиком, весной и летом в резиновых ботах, а зимой в так званых бурках, пошитых с тряпья и ваты, вместо галош – самоделки, склеенные из неподдающихся ремонту сапог. И мужчины, и женщины косили в лаптях.

Пожалуй, труднее всех в деревне приходилось Елене Николаевне. Прокормить себя и троих, мал меньше, детей, одеть их, казалось, невозможно. Люди советовали отдать сыновей в детский дом, оставить лишь старшую дочь при себе.

– Одна не назапасишь сена на корову, – убеждали доброжелатели, – участков для косябы колхоз не выделяет, а если удастся найти делянку в лесу, скосить траву, высушить, то придется домой таскать сено на себе, транспорта для перевозки не дадут. Более того, ловят людей с сеном и заставляют нести его на ферму, а то и сжигают по дороге.

– Без коровы детей не поднимешь, – соглашалась Елена Николаевна, – буду держать.

– Значит, и ребят в интернат не отдашь?

– Если умру – пусть забирает власть в сиротский дом. А пока жива, не отдам. Младшенького Николаем в честь отца назвала. Не поймет, мой Александрович, если от наших кровиночек откажусь.

Мать спала урывками. Вечно в движении, в заботах. Государство помогало, но эта помощь была более чем скромной. Спасал приусадебный участок, корова, дикий щавель, грибы, к зиме разживались на шварку. Мать, хоть и не разрешали, умудрилась купить коня. Участковый грозился отнять, но Елена Николаевна неизменно отвечала: «Бог не простит тому, кто у нищего кий отнимет».

– От непосильного труда мать старела на глазах, улетучилась ее былая

красота, – вспоминает Василий Николаевич, – и угасла наша милая мама в неполных 65. Её ровесницы еще живут. Старшая сестра, первая мамина помощница, окончила Горецкую академию, выучилась на агронома, и также недавно ушла из жизни, оставив двух дочерей. Видно, в детстве сил не набралась. Остались мы с Николаем. Он, как и сестра когда-то, отаборился в Толочинском районе, крановщиком работает.

Вася в одиннадцать лет уже косил, в двенадцать начинал пахать, а там и плотничать, подростком мог срубить баньку. Это у него лучше получалось, чем учиться. Колька брал пример со старшего брата. Напрасно мать и сестра ждали от них пятерок.

– Мама, – однажды сказал, как отрезал, Вася, – я не хочу, чтобы ты рвала жилы, а я зубрил формулы. Колька тоже не хочет.

Больше мать не заводила с сыновьями разговоров об учебе, даже на родительские собрания не ходила. Она знала, сыновья характером в нее, на них не надавишь.

Жить стало легче, хоть и поздновато постучала в дом радость. Да ведь верно подмечено: лучше поздно, чем никогда.

ВИНОВАТО НАТО

В конце августа, сразу же после страды, когда хлебная нива оцетинилась стерней, напоминая подстриженного под барабан призывника, Василия Шинкевича вызвали в военкомат.

– Твой отец был механизатором? – спросил военком. Вася даже обиделся, зачем спрашивает, если и так знает.

– Ну, был.

– Не нукай, не запряг, – грозно глянул подполковник, – надо отвечать: так точно!

– Так точно!

– Это уже другое дело. Мы вот тут посоветались и решили направить тебя от ДОСААФ на водительские курсы. Не против?

– Так точно!

– Что так точно?

– Не против, – покраснел Вася.

Мать обрадовалась. Отец был механизатором, сын станет водителем. С такой профессией не пропадешь ни в городе, ни в деревне.

Дни учебы пролетели быстро. Вася получил права водителя-профессионала третьего класса, и председатель колхоза сразу же доверил ему старенький ГАЗ-51. Техника еще та, но парень был на седьмом небе от радости. Возил солому, сено, иногда молоко.

Машина попалась капризная, не всегда заводилась. Справиться с ее капризами помогли старшие товарищи, а там и сам парень научился лечить

свою старушку. Конь на подворье впервые отдыхал, выбегая на улицу, громко ржал, словно хвалился перед другими лошадьми, что хозяин молодец, его машина стоит полсотни коней.

В 1975 году Василия Шинкевича призвали в армию. Повезло, служить направили в Гродно в мотострелковую роту, охранявшую штаб армии. Полгода юный Шинкевич работал аккумуляторщиком, а потом пошел на повышение – назначили кодировщиком. Для начала взяли подписку о неразглашении военной тайны. Правда, и при желании Вася не мог ничего разгласить. С утра закладывал суточный ключ и следил, чтобы его Фиалка работала без сбоев. Видимо, следил хорошо: присвоили звание ефрейтора, а там и старшего кодировщика. Зарплата выросла на целый рубль, а это несколько пачек печенья к казенной пайке.

В 1977 блок НАТО проводил учение Зима-77. Цель, естественно, напугать Советский Союз и его друзей. Они, будто не знали, что русские зимы не боятся. Наши в ответ решили провести альтернативное учение. Назвали его Запад-77. Лаконично и мудро.

Подходил к концу май. Отцветали черемуха и сирень, под дуновением весеннего ветерка осыпались лепестки яблонь и груш. ЗИЛ-131 с Васиной Фиалкой взял курс на Белосток, через понтоны форсировали Вислу, пересекли польско-германскую границу.

– Так я в первый и последний раз побывал в Европе, – улыбается Василий Николаевич, – при случае могу заявить друзьям: вы дальше своего носа ничего не видели, а я галопом по Европам бежал. Спасибо НАТО.

На учениях ефрейтор Шинкевич зарекомендовал себя с самой лучшей стороны. Полковник Кузнецов объявил благодарность. Старшего кодировщика сфотографировали у развернутого знамени. Вася, конечно же, возгордился: кто сказал, что лапти воду пропускают, знай наших! Но когда в штабе предложили готовиться к поступлению в военное училище, испугался, попятился, как рак, назад. Очень уж хотелось домой.

ДЕНЬГИ НЕ ПАХНУТ

Председатель колхоза долго просматривал Васины бумаги, вчитывался в характеристику, пока глубокомысленно не изрек «М-м-да-а».

– Что м-мда? – удивился Вася.

– Честно признайся, предлагали на сверхсрочную остаться?

– И на сверхсрочную, и направление в военное училища давали...

– Ты, конечно, гордо отказался.

– Да.

– А вот я на твоём месте не отказался бы.

– Почему?

– В колхозе, браток, придется день и ночь пахать за гроши. На пенсию, если доживешь до нее, пойдешь в шестьдесят лет разбитым стариком. Может, пока

не поздно, иди в военкомат вот с этими бумагами, и тебе дадут направление в училище: выучишься на офицера, в сорок пять свободен. Пенсия больше нашей зарплаты.

– Так вам не нужны водители?

– Еще как нужны! Но мне жалко тебя, крест на своей карьере ставишь...

– На какую машину прикажете садиться? – перебил многоречивого председателя Вася.

– Ты у нас птица высокого полета, до ефрейтора дослужился, – съехидничал тот в ответ, – до армии колесил на ГАЗ-51, а теперь получишь ГАЗ-53.

И опять Василий Шинкевич возил сено, солому, молоко.

– За тобой, сынок, я отдыхаю, говорила мать.

– Странный у тебя отдых, мама. Как и раньше, работаешь в колхозе, а дома корова, свинья, птица, готовить надо, стирать...

– Эх, сынок, мне уже не надо думать, как прокормить худобу, заготовить на зиму дров, забор починить, навоз вывезти. Это самая тяжелая работа, а готовить и стирать руки не болят...

Два года они жили с матерью вдвоем. Лишь однажды расстались ненадолго: Васю призвали на военные сборы в полк связи. Вернулся домой офицером.

– Теперь все девчата мои, – шутил он.

– Ищи одну, остальных оставь друзьям, – улыбнулась мать.

– Есть тут на примете, – признался Вася.

– Нравится?

– Очень.

– То познакомь нас.

– Обязательно, – пообещал Вася.

Тамара работала в Выдрице продавцом. Елена Николаевна не однажды ее видела, разговаривала с ней на житейские темы, даже о сыне рассказывала, а вдруг девушка заинтересуется. Ей и в голову не приходило, что беседует с будущей невесткой, Вася и Тамара давно встречались, но держали это в тайне.

Через два года после службы в армии один из самых завидных женихов Выдрицы женился. Гуляли свадьбу в Загорье Толочинского района, откуда Тамара родом, а потом и в Выдрице.

Когда на свет появилась внучка Оля, бабушке Алёне забот прибавилось, но это были приятные заботы. Она помогала купать внучку, пеленать, учила ходить, а с рождением внука Саши и вовсе расцвела, будто вернулась молодость.

Дела в колхозе, между тем, шли из рук вон плохо. Менялись руководители хозяйства, но не менялась жизнь к лучшему. Вася как-то за месяц получил девяносто рублей. И это летом, когда вкалывал с утра до вечера. Что же будет зимой, когда работы в десять раз меньше? – задавал сам себя вопрос и не находил на него ответа. Чаша терпения переполнилась, когда его Тамаре Владимировне, находившейся в декретном отпуске, почтальон вручила восемнадцать рублей.

– Придется искать другую работу, – сказал глава семьи жене и матери, – так жить дальше нельзя. Детей надо поднимать.

И жена, и даже мать, которая считала раньше, что за колхоз надо держаться, как рак за жабу, на этот раз не возразила. Легко сказать, но как найти другую работу: деревня не город.

ЗВЕРЬ НА ЛОВЦА

В любой деревне, даже большой, все хорошо друг друга знают. Выдрица не исключение. Вася не однажды встречался, беседовал с Хвощевским. Владимир Михайлович работал лесником в Крупском военном лесхозе. Он когда-то форсировал, как шутили сельчане, Выдрицу, и пристал в приемы к местной девушке. Это было так давно, что все считали Хвощевского своим, выдрицким. Он достроил дом, сарай, завел пчёл.

Все, кто выписывал лес, получали его через Владимира Михайловича. Тот проверял документы, отводил делянку, показывал место вырубki. Мог за лишний кубометр наказать человека, а мог и не заметить нарушения. Так как Василию Шинкевичу часто приходилось вывозить вырубленный лес, они с Хвощевским успели хорошо присмотреться друг к другу.

Вася видел, как бережно относится Владимир Михайлович к каждому дереву, заставляет порубщиков прибирать ветки, мусор. Никому, даже близким родственникам, не дает спуска, не прощает головотяпства. Это честность, любовь к порученному делу подкупали Васю, впору было поучиться у старшего на двадцать лет товарища. Видно, эта добросовестность, трудолюбие были замечены наверху, и хотя Хвощевский не имел специального образования, его назначили мастером.

Как-то Владимир Михайлович остановил Васю посреди улицы, отвел к лавочке возле дома, и предложил присесть.

– Разговор есть, – сказал он, неторопливо вытащив из кармана пачку сигарет. Заядлый курильщик, он не мог начать беседы, не проглотив очередную порцию едкого дыма. Ходили легенды, что даже на пожарах закуривал. Вася терпеливо ждал.

– Ну, как жисть молодая? – начал издалека Владимир Михайлович.

– Бьет ключом и все по голове, – машинально ответил Вася.

– А если серьезно?

– А если серьезно, то, как у бутылки, каждый норовит ухватить за горло.

Владимир Михайлович рассмеялся. Он любил меткое словцо, шутку.

– И кто же тебя хватает? Председатель? Главный инженер?

– Эх, Владимир Михайлович, на людей я не в обиде, – вздохнул Шинкевич, – душит безденежье. Мать болеет. Жена в декрете. А я получаю копейки.

– А что, если я твою беду руками разведу?

– Так уж и разведете? Вы не Бог.

– Слухай сюды. В нашем лесхозе есть место лесника. Работы много, но и заработок неплохой. Я знал твоего отца, знаю тебя, закину слово перед директором. Только торопиться надо, благо, место пусто не бывает.

– Я готов хоть сейчас, но какой же из меня лесник, все время за рулем.

– Хватит разговоры разговаривать, хоть и выходной сегодня, директор на месте. Иди, переодевайся и поедem.

Василий не стал упрямыться. Быстренько умылся, побрился, надел черные брюки и белую рубашку, прихватил документы и поспешил к Хващевскому.

– Вот вам кандидат в лесники, – сказал Хващевский Василию Афанасьевичу Моничу. – Классный водитель, офицер запаса.

– Значит, Василием звать? В переводе царственный. Мой тезка. Так и быть – возьму, раз сам Хващевский ручается. Он и введет тебя в курс дела. Старайся – не обидим.

– Рад стараться! – рявкнул Василий.

Все весело засмеялись.

ЛЁГКА СКАЗАЦЬ, ЦЯЖКА ДЫБАЦЬ

Скоро Василий Николаевич Шинкевич убедился, что за красивые глазки денег не платят. Водитель отвечает за исправность машины, за своевременную доставку груза, а тут он нес ответственность, считай, за каждое дерево. Кто-то за ночь спилил старый дуб, умудрился разделить его и увезти в неизвестном направлении. Тут-то и вопрос: что делать бедному леснику, проморганшему браконьера? Первое, что приходит в голову: скрыть порубку, присыпать пень землей, убрать ветки, как сделал это когда-то герой рассказа Якуба Коласа. Правда, бедолаге не удалось замести следы преступления, лесничий спросил: «На чем стоишь, галган?» Галган стоял на замаскированном землей и ветками пне. Дорого обошелся леснику его недосмотр. Он остался без работы, а семья без хлеба.

У Шинкевича открылся неизвестный ему дотолe талант следователя. Он довольно быстро вычислял самовольных порубщиков, составлял акты. Случалось, застаивал, желающих разжиться на дармовщину, на месте преступления. Поразному вели себя люди. Чаще просились, соглашались подписать акт, уплатить потом штраф, а иногда хватались за топоры.

– Пожалейте своих детей, – спокойно говорил Василий Николаевич, – убийство лесника при исполнении своих обязанностей потянет, как минимум, лет на пятнадцать-двадцать.

И жалели, обязательно находился из компании кто-нибудь с холодной головой. Он увещевал друзей одуматься, мол, служивый не виноват, такая у него, видите ли, собачья работа. Шинкевич, само собой. Не считал свою работу собачьей. Но молчал: не буди лихо, пока тихо.

Через год-два порубки на территории Шинкевича прекратились, да и

браконьеры предпочитали обходить стороной владения лесника-следователя.

Стоит ли объяснять читателю, что порубки, борьба с охотниками без лицензий только маленькая толика забот лесника?

– При Мониче план по лесозаготовкам был более чем скромным, – вспоминает Василий Николаевич, – теперь, при Фурсевиче, объемы заготовок резко возросли, сбыт продукции увеличился. Люди стали значительно больше зарабатывать. Появилась новейшая техника. Канули в Лету те времена, когда обрезали кусты вручную, пилили деревья двуручной пилой. Мощные тракторы-тралевщики не чета слабосильной вчерашней технике.

– Но так, Василий Николаевич, можно и без леса остаться...

– Вырубает только спелый лес, это раз, а объемы лесопосадок, как никогда, высоки – это два. Так что наши внуки и правнуки вспомнят нас добрым словом не однажды.

А время идет. Кажется, вчера Хвощевский привел к директору лесхоза молодого водителя, а он уже двадцать пять весен хозяйствует в лесу.

– Старший лесник Шинкевич, – говорит молодой лесничий Александр Дубров, – можно сказать, человек незаменимый, не однажды, когда был необходимо, пересаживался на ЗИЛ. Не припомню случая, чтобы он без уважительной причины опоздал на разнарядку. На работу, если нет транспорта, добирается на велосипеде, идет пешком, подъезжает на попутной машине. На вывозке, на отводах, маркировке – Николаевич лучший из лучших.

Между прочим, его учителю, Владимиру Михайловичу Хвощевскому, за семьдесят, а он все еще работает. Таким людям, как Хвощевский, Шинкевич, лес дает силу. Поверьте, это не пустые слова. Кого любит лес, кому признателен, того бережет, и, наоборот, плохих людей наказывает

– Как в сказке о добрых гномах.

Лес и есть сказка. Вы – писатель, Василий Александрович, кому, как не вам, это знать.

Не согласиться, значит, быть слепым и глухим. Живут сказки в лесу, живут...

ЭПИЛОГ

Василий Николаевич и Тамара Владимировна остались в просторном доме одни. Первой улетела из родных пенат Оля. Трудится на МАЗе. Как говорит всем отец: делает для арабов тягачи. А вот Саша все ищет свое место в жизни, и пока не прибивается ни к одному берегу, окончил курсы автомехаников, таксует. Скоро свадьба. Родители надеются, что молодая жена из-под Рассон, повлияет на сына положительно.

В Выдрице жизнь меняется. Деревня стареет. Появился первый фермер. Он арендует сорок гектаров земли. Все удивляются, готовы воскликнуть: комо градеши, куда идем, или – о, времена, о нравы!

Чета Шинкевичей держит корову, через день сдает двадцать литров молока.

Не забывают супруги и про свиней, птиц. Все это хозяйство стережет умный дворовый пес по кличке Босы. Он охотно пасёт коров, сопровождает Василия Николаевича в лес, когда тот берет в руки лукошко для грибов, или ведро для ягод. Заметит у хозяина топор, пилу и спрячется в будку.

Праздник на улице Василия Николаевича и Тамары Владимировны приходит, когда приезжает к ним внучка Лиза. Они молодеют на глазах, готовы играть с девочкой во все игры, даже в белорусскую национальную – прятки.

Когда надоест деду прятаться, он говорит внучке:

– Идем в лес, я спрячусь, а ты ищи...

– А если потеряюсь? А там, говорят, медведица бродит с медвежатами, а еще волки!

– Волков бояться – в лес не ходить, – серьезно отвечает дед. – Я не боюсь, вот и хожу в лес ежедневно.

Молчит внучка, потом глубокомысленно заявляет:

– В лес, деду, пойдем вместе, но прятаться один от одного не будем. Возьмем еще с собой собачку, Босы никого не боится.

Не знаю, кто как, а я верю пятилетней Лизе.

Николай РЕРИХ

«Мы должны...»

«Из того, что может быть, сию минуту мы не знаем, где и как вырастет летопись русской культуры, это не значит, что мы не должны сосредоточиваться на этой мысли. Наоборот, мы должны и в себе, и в сотрудничествах, и во всем мире находить к тому пути наилучшие...»

Великая Родина, все духовные сокровища твои, все неизреченные красоты твои, всю твою неисчерпаемость во всех просторах и вершинах будем оборонять».

Эти слова замечательного русского художника Николая Константиновича Рериха можно поставить эпиграфом к очерку о его жизни и творчестве.*

Н.К. Рерих – один из ярких, самобытных и сложных художников русской школы. Он принадлежит к первому поколению мастеров, открывших своими поисками интересную и противоречивую эпоху начала нашего столетия, для которой, по словам А. Бенуа, стало характерным не только «подведение концов и итогов», но прежде всего устремленность к новым, далеким горизонтам искусства революционного XX века.

Современниками Рериха были В.А. Серов, К.А. Коровин, М.В. Нестеров, М.А. Врубель, А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, А.П. Рябушкин, Ф.А. Малявин. Этим, столь различных в своих творческих принципах и новаторских поисках художников, объединяло прежде всего чувство органической связи их искусства с XIX веком, завещавшим художникам наступающего столетия многогранное богатство художественных традиций русской реалистической школы, его гуманистический, демократический пафос.

Мечта об искусстве большого стиля, вера в высокое назначение искусства, утверждающего прекрасные гуманистические идеалы, четко выраженная классическая ориентация – вот те черты, которые определили характер творчества Н.К. Рериха. В своем отношении к искусству он исходил из высших норм художников Ренессанса, так как творческая универсальность Леонардо да Винчи, Дюрера, Микельанджело, полнота их самовыражения в творчестве, тесно связанном с развитием наук и ремесел, многосторонность и цельность их натур всегда были образцом для художника.

Свойственная очень многим художникам иллюзия свободного самовыражения в искусстве никогда не была присуща Рериху – художнику, ибо Рерих – ученый очень ясно понял, что сущностью подлинной культуры и настоящего искусства является выражение духовных ценностей, созданных народами.

* Картины из Альбома репродукций. Главное управление Гознака, Москва, 1970.

Н.К. Рерих занимает в истории русской живописи особое место. Его творческий метод сформировался в основных своих чертах до революции. Вторая половина его творчества хронологически относится к советскому периоду русской истории.

Н.К. Рерих родился в Петербурге 10 октября 1874 года. В 1893 г. он поступил одновременно на юридический факультет Петербургского университета и в Академию Художеств, в мастерскую А.И. Куинджи.

Рерих начинает свой путь в искусстве в конце 90-х гг. XIX века (его первая крупная работа «Гонец» написана в 1897 году) и в предреволюционные годы становится одним из видных и интереснейших русских художников; он — центральная фигура молодой группы «Мира искусства» и один из пионеров русского символизма.

После отъезда из России в 1918 году и до своей кончины в 1947 году Н.К. Рерих жил за границей, в основном в Индии, и характер его творчества за это время настолько изменился, что в искусствоведении принято делить творческий путь Рериха на два периода: «русский» (до 1918 г.) и «индийский» (1918 — 1947 гг.). Известную трудность для научного исследования представляет не столько анализ второго, «индийского» периода искусства Рериха, сколько определение единой оценки творчества художника в целом.

Надо признать необходимым выделение из огромного количества индийских работ Рериха серии «Майтрейя» 1925 года («Майтрейя-победитель»; «Знамя грядущего»; «Конь счастья»; «Мощь пещер»; «Красные кони»; «Твердыня стен»; «Явление срока»), а также примыкающих к ним полотен «Меч Гесэра» 1932 года и «Держательница Мира» 1937 года. Именно сопоставление этих работ с более основательно изученными картинами дореволюционного творчества Рериха позволяет выявить творческую проблематику его искусства в целом.

Рерих — художник—археолог, создатель поэтических пейзажей, романтических исторических композиций, символических «идеограмм»;* религиозный мечтатель и фантаст, «ясновидец и пророк»; он переходит от полотен, выполненных в духе реализма XIX века, к условно стилизаторским панно и иконоподобным композициям начала XX века, а затем увлекается религиозными монументальными росписями и театральной декорацией; создает в 1940-х годах многочисленные полотна, проникнутые мистическим настроением, а завершает творческую эволюцию реалистическим Гималайским циклом.

При всей кажущейся разнотильности отдельных периодов творчества художника очевидна главная закономерность развития искусства Рериха в целом — становление его метода «героического реализма», проявившегося в полной мере в его заключительном Гималайском цикле.

* Определение, применяемое по отношению к картинам Рериха некоторыми исследователями его искусства (Э. Голлербах. В. Иванов. С. Эраст). Картина — идеограмма — особый тип композиции, в которой чувственно-конкретные изображения являются своеобразными понятийными знаками, мыслеобразами (по терминологии символистов).

Рерих, мечтавший о возрождении великого искусства Ренессанса в условиях надвигавшейся антиэстетической стихии машинизированного XX века, понимал, насколько сложна и насущна задача создания нового гуманистического искусства.

Художник считал наступающий век веком мировых катаклизмов, военных пожаров, веком социальной, научной и технической революции на планете, готовящейся вступить в свою космическую эру.

Рерих поражает творческой энергией, неутомимостью своих поисков новых, современных форм искусства. Он работает в станковой живописи, графике, в прикладном искусстве и монументальном, в театре. Его искусство неровно, он терпит порой неудачи (пожалуй, одна из самых тяжелых – крушение его веры в возможность возрождения монументального искусства и кустарных художественных промыслов).

Процессы внутренней перестройки системы жанров в русской живописи XIX века, приведшие к так называемой «революции жанров» в искусстве начала XX века, проявились в творчестве Рериха в создании особого синтетического, условно говоря, символично-фантастического жанра. Этот особый жанр явился результатом слияния не только классических жанров пейзажа, бытового жанра (интерьера и натюрморта в отдельных случаях, особенно в театральных эскизах к «Принцессе Малэн», «Тристану и Изольде» и т. д.), но и элементов художественной формы монументальной живописи, в первую очередь – древнерусской.

Говоря об использовании Рерихом форм древней живописи, в частности, иконописи, исследователи обычно видят в этом проявление «стилизаторских тенденций». Думается, что вопрос этот гораздо более сложный – Рерих по-своему стремился разрешить актуальнейшую проблему культурного наследия, волновавшую многих художников, пытавшихся соединить в своем творчестве различные художественные методы, чтобы найти новые отправные точки роста для современного искусства.

Рерих верил, что наступивший XX век станет веком расцвета русской школы искусства. «И в пустынных просторах, и в пустынной тесноте города, и в песчаной буре, и в наводнении, и в грозе, и в молнии будем держать на сердце мысль, подлежащую осуществлению – о летописи русского искусства, о летописи русской культуры в образах всенародных, прекрасных и достоверных».

Именно «всенародные, прекрасные и достоверные» образы, созданные культурами разных стран и эпох, и прежде всего русской культурой, становятся образами полотен Рериха.

Поэзия древних легенд, великих произведений классики становится живой плотью картин Рериха. Герои его произведений всегда люди сильных страстей, необычной судьбы. В образном строе живописных полотен художник стремится раскрыть действие этих скрытых внутренних сил, управляющих судьбами отдельных личностей и целых народов. Для Рериха все в мире представляется взаимосвязанным, все образует бесконечную цепь причин и следствий; образ

мира в его полотнах — это выражение внутренней связи законов природы и законов человеческого духа, образующих в своем единстве неповторимые облики культурно-исторических эпох.

«В пене океанских волн каждый неопытный мореход находит хаос и бесформенное нагромождение, но умудренный опытом ясно различает и законный ритм, и твердый рисунок нарастания волны. Не то же ли самое и в пене смятения народов?»

То же было бы недальновидно не различать гигантских волн эволюции».

Эволюция человека, в понимании Рериха, была последовательным завоеванием высоких человеческих духовных ценностей, расширением и углублением реальности, т.е. всей совокупности отношений человека с миром. И в своих полотнах художник стремился выразить именно идею духовной эволюции человека на Земле, создать произведения высокого поэтического звучания.

В отличие от рационалистической тенденции превращения картины в «вещь», Рерих стремился предельно одухотворить, опозитизировать произведение. Художник тщательно рассчитывает соотношения масс света и теней в каждой своей работе, пропорции холста, подчиняя тональную структуру картины замыслу превращения ее в излучающую свет плоскость, Рерих отказывается от письма тяжелыми, темнеющими со временем масляными красками и переходит на темпера — технику древних иконописцев. Поверхность картин мастера становится чистой и гладкой, как зеркало; художник избегает шероховатых пастозных мазков. «Пусть мои картины лучше станут снами, чем черными сапогами», — говорил он.

В отличие от желания демонстрировать в картине обнаженность технического приема, что стало одним из творческих принципов многих мастеров XX века, Рерих стремился к возможно большей непрявственности в картине усилий художника, добиваясь иллюзии своего рода «нерукотворности» произведений.

Анализировать картины Рериха очень трудно; фактически в них нет сюжета в традиционном для XIX века понимании; в них важно не то, что происходит, а поэтическая целостность произведения, одухотворенность, мелодия, пластичность.

В одной из своих статей он пишет: «В Парижской обсерватории производятся в настоящее время опыты соноризации звездного неба. Как известно, всякий световой луч можно превратить при помощи так называемой фотоэлектрической клетки в звук и обратно. На этом основан говорящий кинематограф. Свет небесного тела, уловленный в телескоп и направленный на фотоэлектрическую установку, дает определенный звук: звезда, в буквальном смысле слова, поет.

Из всех перепробованных звезд наиболее мелодичный звук дает Вега. Свету, из которого этот звук рождается, нужно 27 лет, чтобы дойти до Земли...».

В своих попытках овладеть тайной цвета Рерих вплотную подошел к издавна волновавшей философов, музыкантов и художников проблеме музыки цвета.

Особую роль в становлении творческого мышления Рериха сыграла его работа

с Римским-Корсаковым, создавшим свою теорию «цветового звуко-созерцания». «Римский-Корсаков всегда предпочитал сочинять в определенной для данного цвета тональности. *

Победа человечества над необозримыми пространствами, над природой, над материей становится содержанием искусства Рериха. Зритель видит это и в такой работе как „Воскресенский монастырь» в Угличе (1904 г.), созерцая синеву неба, зелень травы, белизну архитектуры белокаменной Руси и чувствуя мощь здания, этой стихии камня, ставшего музыкой, искусством в руках человека.

Люди победили «тягу земную», каменную массу, которая теперь по воле зодчего устремилась в небо громадами стен, ритмом куполов, вертикалями опорных столбов, полетом арок и сводов. Рерих строит пространственную конструкцию своей картины как выражение познанной им логики вертикальных – динамических и горизонтальных – инертных планов здания. Точный, математический расчет пространственных ритмов, масштабность мазка краски связаны у Рериха с решением цветовых задач.

Далекий от желания просто копировать видимые оттенки цвета в природе, Рерих пытается постичь суть общей колористической композиции поразившего его мотива: облачная белизна монастыря на границе свежей зелени земли и голубого сияния неба.

Именно в эти годы Рерих начинает писать на цветных холстах (художник говорит, что он пришел к этому, увидев неоконченную картину Микельанджело в Национальной галерее в Лондоне – она была написана на зеленом фоне, на котором «Сьерра ди Сиенна становилась не рыжей, а золотистой»). Применение цветного холста мы видим в натуральных этюдах архитектуры, написанных во время «поездки за стариной» – первой научно-художественной экспедиции Рерихов, Николая Константиновича и его жены Елены Ивановны весной и летом 1903 – 1904 годов по древним русским городам. Открытие истинной древней Руси, ее зодчества, ее живописи, фресок, фольклора, ее быта (Рерихи собрали огромный этнографический материал) было началом нового периода жизни и творчества Николая Константиновича. Восхищение художника шедеврами древнерусского искусства переплелось с чувством отчаянья при виде варварского обращения с ними, уничтожения древних построек, фресок, икон, проистекающего от невежества, и, как говорил А. Бенуа, от «всесветного хамства», корыстолюбия, пошлости мещан всех рангов. Это «хамство» в отношении драгоценного наследия предков Рерих считал выражением тупика современной капиталистической цивилизации, превратившей человека в жалкий, трусливый механизм, работающий в гигантской бесчеловечной системе, девизом которой стали слова «нажива», «корысть». Основным цветом жизни, писал Рерих, стал «серый,

* Было бы неверным рассматривать эти картины как своего рода:

E-dur (ми-мажор) – синий, сапфировый, блестящий, ночной, темно-пурпурный.

D-dur (ре-мажор) – дневной, желтоватый, царственный, властный.

A-dur (ля-мажор) – ясный, весенний, розовый. Это цвет вечной юности, вечной молодости.

A-moll (ля-минор) – отчасти розоватый (по ассоциации с A-dur'om, но бледнее).

потушенный, цвет мыши; цвет сумеречного угасания», цвет страха, порожденного невежеством, косностью мысли. «В нашей русской жизни слишком много страха – маленького, серого страха. Мы боимся будней, боимся громко заговорить. Боимся высказать радость. Боимся переставить вещи. Боимся подумать ясно и бесповоротно. Мы легко примираемся с тем, что нам что-то не суждено...». Художник стремился противопоставить серой, тупой реальности мещанина яркие, романтические образы.

Бодрая, мажорная нота звучит лейтмотивом серии «Славяне». Это поэма об открытии мира, о человеческом мужестве, о радости познания, чувстве долга и доверия, братстве людей.

В многочисленных полотнах 900-х годов, объединенных в большие серии («Славяне», «Каменный век» и др.), художник выражает свое понимание древнего мира, пытается дать его зримые образы.

Особое место в творчестве Рериха этого времени занимают полотна, условно говоря, сказочно-фантастической тематики, характер которых угадывается уже в самих названиях: «Огни подземные» (1902 г.), «Чародей» (1913 г.), «Веление неба» (1915 г.), «Заклятие водное» (1905 г.), «Колдуны» (1905 г.), «Вещий камень» (1905 г.), «Заклятие земное» (1907 г.), «Человечьи праотцы» (1911 г.), «Стрелы неба–копья земли» (1915 г.), «Сокровище ангелов» (1905 г.), «Звездные руны» (1912 г.), «Мехески–лунный народ» (1915 г.) и другие.

«Аккорды Баха вводили в тот чистый храм, который расцвел при приближении к Вагнеру, Римскому-Корсакову, Дебюсси, Скрябину...

Большинство моих картин внутренне неразрывно связано с этими именами», – писал Николай Константинович.

В одном из писем к жене Рерих, рассказывая о серии задуманных им картин, следующим образом определяет звуковую окраску своих работ:

Небесный бой – величаво-торжественно;

Рассказ о боге – медленно, с чувством, легко;

Святыня (идолы) – оживленно-воинственно.

Музыка цвета стала основным элементом картины–идеограммы Рериха.

В основных своих чертах принцип символично-фантастической картины–идеограммы сформировался уже в первое десятилетие творческого пути мастера.

Уже в первой своей значительной картине «Гонец. Восстал род на род» (1897) молодой художник показал талант композитора, умеющего извлечь нужную ему эмоциональную и смысловую мелодию при решении пластически-образных задач.

Рерих воссоздает образ древнего мира, погруженного в ночь. Зритель с тревожным чувством вглядывается в темную громаду холма, уступами поднимающуюся в небо, гряде неясных хижин, ряды острых кольев, увенчанных черепами, которым вторит рваная масса темного леса. Безмолвный сон этой дикой страны тревожит багровая луна, встающая из-за леса. Перекликающиеся с ней красные огни костров в городище, сопровождаемые светящимися пятнами

белых черепов, заставляют представить тревожную чуткость, настороженность и возможную враждебность лесных людей—обитателей темного городища. Мир раздробленных племен, оседающих на берегах рек, время кровавой охоты, войн и суеверий, мир образования первых племенных союзов — колыбель человечества на грани истории и мглы первобытного хаоса...

В Париже Рерих продолжает работу над картинами древнеславянской серии. В период 1897—1901 годы им были закончены полотна «Зловещие», «Идолы», «Город строят», «Заморские гости».

В картинах мастера переплелись правда натуральных археологических зарисовок, наблюдения ученого-исследователя и богатейшая фантазия поэта-романтика.

В своих живописных приемах художник стремится выразить это ощущение живого созерцания старины. Рерих все дальше идет по пути использования в живописи темпераментного пастозного свободного письма позднего импрессионизма. Некоторые работы художника смотрятся большими натурными этюдами: такова, например, картина «Город строят» (1902) с ее широкими, почти коровинскими длинными и густыми мазками, великолепно передающими ощущение свежести смолистого дерева, холодок белых полотняных одежд, бодрость ветра.

Одной из наиболее удачных картин этого периода является полотно «Заморские гости» (1901).

Караван варяжских ладей входит в Волхов из Ильмень-озера, они летят на крыльях ветра, на крыльях белой волны, среди крыльев чаек. Рерих кладет густые мазки красочного теста, стараясь передать в фактуре живописи плотность воды, сопротивление волн, упругость паруса. Зритель видит строй разноцветных щитов на бортах ладей (защита, украшение, опознавательные и геральдические знаки варягов), любуется орнаментированными, раскрашенными яркой киноварью мачтой, узорным полотняным навесом и огромным тугим парусом, пламенеющим на солнце.

Применение орнамента—линейного и цветового — своеобразный «камертон» произведения. Мотивы парящих крыльев птиц, бегущей волны легли живописные иллюстрации к сказкам и легендам, как, например, картины В. М. Васнецова. Это самостоятельные фантастические композиции, в которых художник стремится выразить ощущение жизненности сказочных образов, перестающих в трактовке Рериха быть просто сказочными и ставших странно реальными, таинственными.

Именно в этих «странных» явлениях существует для Рериха какая-то особая, магическая красота и очарование, красота, которую нельзя описать и высказать словами — «красота Нереченного», как говорил Рерих, поэтическая власть легенд и преданий о любви Сольвейг и Февронии, о тайнописи звездных рун, о мощи Микулы Селяниновича, родного сына Земли, о трагическом одиночестве Святогора, о мудрости волхвов, о волшебных камнях, о радуге—мосте славы, о звездах—душах земных цветов.

Рерих тем иступленнее ищет «красоту Нереченного» в старых легендах,

историях, сказках – чем тяжелее и страшнее становился для него мир. Ибо юношеское ощущение противоречий современной жизни постепенно превращалось у Рериха в убежденность, что человечество подходит к историческому рубежу, к эпохе мировых катаклизмов. «Град обреченный», «Крик змия», «Ангел последний», «Дела человеческие», «Зарево», «Короны» – картины, написанные Рерихом непосредственно перед первой мировой войной, за которые Рерих получил от Горького титул «величайшего интуитивиста» и «прорицателя».

Рерих так определял уровень современной цивилизации: «Земля пережила много крахов и потрясений. Но нет ли каких-то отличительных признаков свалившегося сейчас на человечество духовного и материального несчастья? Такой признак есть. И этот признак страшен, если на него не обратить особого внимания. Это признак всемирного несчастья. Прежде несчастья были национальные или групповые, но сейчас произошел неслыханный интернационализм несчастий. Нет такой страны, нет такого удаленного острова, которые бы не повторяли речей о несчастье...

А за ним появляется настоящий танец смерти: «Отсечь, прекратить, убить, умертвить» на самых разных языках, в различных формулах несутся по миру эти мертвые слова. Призрачная экономия породила армии безработных или сделала размер содержания неотвечающим даже самым нищенским потребностям».

Программное произведение Рериха конца 900-х годов – «Сеча при Керженце». Тема извечных битв человека с природой, звучавшая лейтмотивом ранних произведений художника, развитая им в картине «Бой» (1906) в своеобразную философию истории, конкретизируется теперь в центральную тему творчества зрелого Рериха – тему справедливой, священной битвы за светлые идеалы человечества.

Небольшой картон из собрания И.В. Михайловской, эскиз панно для Казанского вокзала в Москве, повторяющий решение занавеса для постановки оперы Римского-Корсакова «Сказание о невидимом граде Китеже», полон пафоса монументальной вещи. Неистовствует алое пламя в небе и в светлом зеркале-озере, в боевых щитах, в хоругвях двух неумолимо сближающихся лавин всадников. Земля перестает казаться реальной перед мощью, яростью этого космического огня. Мирные зеленые холмы, золотые цветы, птицы – все это тонет, исчезает в вихре битвы. Алый цвет ярости звучит настолько мощно, что зеленый цвет земли кажется лишь его эхом, его зеркалом. Небо настолько властно утверждает себя на земле, давит своим цветом, массой (пылающий кусок неба – отражение в озере), что вначале даже чудится, что это настоящее небо, а зелень вокруг – странные зеленые облака. Эту иллюзию усугубляет образ стаи испуганных птиц, летящих на фоне земли. И алая дружина ангелов под летящей стаей на берегу «небесного» озера кажется просто необходимой – как разрешение для смятенной души этого фантастического аккорда сталкивающихся стихий.

Летят птицы, летят боевые знамена и хоругви русского воинства, светлый

лик Спаса, образ солнечного воина Георгия-Победоносца — навстречу лавине безликих кровавых бунчуков. Лик Спаса — образ любви и мужества, и бунчук — образ первобытной ярости, молодечества, удали, разбоя. Смерть собирает свою кровавую жатву на ковре самой жизни — ковре золотых цветов.

Лягут на боевом поле русские воины в неравной битве с врагом.

Выстоит Русь. Не найдут татары дороги к светлому Китежу. В черный лес, на страшную погибель убежит обезумевший от ужаса предатель. И в последнем своем сне увидит себя Феврония входящей в прекрасный Китеж навстречу своему народу и своей любви.

«Сеча при Керженце» — это образ священной войны, праведного боя народа за идеи добра и справедливости. И бой на Керженце — лишь мгновение в извечной битве света с тьмой.

Тема праведного боя, подвига становится лейтмотивом искусства Рериха 1920–40-х годов.

В своей речи на открытии общества «Корона Мира» в июле 1922 года Рерих говорил: «Предстали перед человечеством события космического величия. Человечество уже поняло, что происходящее не случайно. Время создания культуры духа приблизилось. Перед нашими глазами произошла переоценка ценностей. Среди груд обесцененных денег человечество нашло сокровище мирового значения. И когда утверждаем: Любовь, Красота и Действие, мы знаем, что произносим формулу международного языка. Эта формула, ныне принадлежащая музею и сцене, должна войти в жизнь каждого дня...».

В течение своей жизни Рерих написал громадное количество картин, и большинство его «сюжетных» работ было создано в 1920 – 1930 годы. Многие произведения объединены в тематические серии: «Славянская» (1897-1915), «Ладожская» (1916), «Sancta Seria» (1920), «Нью Мексика» (1921), «Сюита океана» (1922), «Сикким», «Монастыри» (1924), «Учителя Востока» (1925), «Алтай», «Монголия» (1926), «Ладак», «Лахуль» (1932-1934), «Майтрейя» (1925-1937), «Гималаи» (1928-1947). И все эти серии можно в свою очередь разбить на три большие цикла: поэма о Женщине, поэма об Учителе, поэма о Герое.

Три основные темы искусства Рериха — темы Женщины, Учителя, Героя — темы Любви, Красоты, Мудрости и Действия — были для Рериха открытиями главных духовных ценностей человечества.

В картине «Змей» (1924) Рерих, повторяя античные изображения рождения Афродиты («Алтарь Людовизи») в образе встающей из морских волн прекрасной богини любви, провозглашает наступление нового века на земле, необходимо идущего на смену черному веку первобытной ярости — веку кровавых войн, «веку змея».

Картины «Ункрада» (1909), «За морями земли великие» (1912), «У рубежа» (1915), «Змей» (1924), «Матерь мира» (1924), «Держательница Мира» (1937), «Oriflamma» (1931), «Мать Чингиз-хана» (1931) и др. — это поэма о женщине, о ее высоком назначении в мире.

Картины «Пантелеймон-целитель» (1916), «Прокопий Устюжский» (1914), «Сергий-строитель» (1942), «Майтрейя-победитель» (1925), «Кришна» (1933 г.) и др. — поэма об учителе (Гуру), о мудрости, о величии человеческой души. Это понятие для Рериха столь высоко, что он большей частью обозначал его с прописной буквы.

Картины 1930 — 1940 годов «Жанна д'Арк», «К подвигу», «Гесэр-хан», «Микула Селянинович», «Песнь о Ригден-Джапо», «Святогор» и др. — поэма о Герое, о действии, о высокой цели и о подвигах во имя ее.

Конец 1920-х годов — время больших перемен в творчестве Рериха — он ищет новые выразительные возможности реалистического языка. Вместе с тем художник ни в коей мере не отказывается и от принципа картины—идеограммы, продолжая поиски и в этом направлении.

Великолепный пример реалистической картины — идеограммы — «Меч Гесэра» (1932). В этом произведении художник создал реалистический одухотворенный образ, в котором достоверность натурального изображения претворяется в реальность интуитивного постижения смысла древних легенд.

Мастер, овладевший «магией знака, линии и цвета», давая мощный аккорд глубокой синевы неба и гор и победно-ликующего золота солнечной Земли, насыщая напряженность этого цветового аккорда контрастами светотени пространственных планов, претворяет чистую тональность этого аккорда в стремительный ритм вертикалей гор, устремляющихся в небо. Художник разрешает внутреннее огромное напряжение этого аккорда в изображении светлого меча, повернутого рукоятью к небу и устремленного клинком к Земле — властно возвращающего в этом своем движении всю силу «тяги земной» к небу.

Именно это смысловое разрешение мощного живописно-пластического аккорда картины создает и в душе зрителя образ странного, фантастической мощи меча — меча Гесэра, священного меча, который дается воинам, отдавшим себя всецело делу борьбы за истину, за высшие идеалы человечества.

К серии полотен-идеограмм относится и созданная художником в 1937 году небольшая картина «Держательница Мира» — любимая картина самого Рериха. Прекрасная женщина ступает по склону горного озера над голубыми пиками снеговых гор. Ее строгая фигура резко рисуется на фоне неба и синих гор, словно стремящихся замкнуться в гигантскую сферу. Граница этих двух миров — черный силуэт горного склона, в котором, кажется, собрались все тени земли, и неподвижная поверхность озера. И весь этот голубой мир, эти горы в небе такие же, как и это неотражающее озеро, словно мираж, и из этого безмолвного голубого мира выступает женщина, в фигуре и лице которой сквозь коричневые «земные» тени проступает голубое сияние.

Эта прекрасная женщина, несущая драгоценный ларец—посланница Гималаев, расступившихся за ней широким и открытым простором.

Если в картине «Меч Гесэра» Рерих, продолжая традиции своих более ранних

условно символических полотен, старался прежде всего претворить «чувственную прелесть материи» в музыку чистого цвета (горы, например, смотрятся скорее языками синего пламени), то в картине «Держательница Мира» художник стремится передать именно земной, живой облик природы (горы на втором плане написаны художником очень конкретно, замечательно передано свечение снежной вершины и мягкие лиловые тени в долинах).

Р. Тагор писал в те годы Рериху: «Мой дорогой Друг. Проблема мира сегодня является наиболее серьезною заботою человечества, и наши усилия кажутся такими незначительными и тщетными перед натиском нового варварства, которое бушует на Западе с все возрастающей яростью. Безобразное проявление обнаженного милитаризма повсюду предвещает злое будущее, и я почти теряю веру в самую цивилизацию. И все же мы не можем сложить наши устремления — это только ускорило бы конец».

Но Рерих — гражданин великой России, вступившей в битву за новый мир. Могучая опора Рериха — чувство Родины, чувство своей кровной связи с новой советской Россией.

Во время Великой Отечественной войны художник создает свою знаменитую «Русскую серию» — образы русских богатырей — воинов, веками отстаивавших Русь от захватчиков. Рерих верит в победу своего народа в священной войне против воплощенного безумия XX века — фашизма.

Художник провозглашает своим основным принципом «героический реализм», его картины 40-х годов — это уже не «трактаты о красоте», это сама могучая красота жизни, ее сияющий прекрасный лик, бросающий вызов безумию, цинизму капиталистической цивилизации.

Это знаменитая «Гималайская серия» — итог многолетних исканий художника, вершина его мастерства.

В картине «Эверест» художник предельно чистым локальным цветом пишет небо и также насыщенно и плотно — горы; он максимально усиливает цвет неба и белизну снега, прочерчивая черной краской контуры касания неба и снеговых вершин; художник стремится дать аккорд именно света со светом; синего света лучезарного неба и белого ослепительного сиянья гор; яркие, светоносные тени на гранях гор он пишет не для того, чтобы вылепить пластическую форму вершины, дать ее объем, но как гигантские рефлексии, светящиеся отраженным светом неба. Горные гряды и облака у подножья — невесомы, прозрачны, они сами — порождение этого океана световой энергии, этого потока космического излучения, обрушивающегося на планету.

Сосредоточив на втором плане всю силу цветового излучения самосветящихся красок, художник вводит на первый план затененные уступы ближних гор, объединяя их цвет с темным цветом рамы.

И как в картине «Держательница Мира» этот резкий черно-коричнево-лиловый цвет первого плана противостоит, как нечто обособленное, условное, живому цвету второго плана.

Строя цветовое решение картины на столкновении этих двух противоположных цветовых систем — звучания чувственно-достоверной, светозарной палитры красок Земли и условной ахроматической системы (художник всегда находит тональность этих пятен тени на первом плане), Рерих добивается ощущения относительности чувственно-конкретных цветов, привычных глазу человека, и в этом его стремлении чувствуется желание художника «прорваться» сквозь сковывающие его старые формы видения, чувствуется страстная мечта о завоевании для человечества грезившегося поэтам «шестого чувства».

Гималаи — это апофеоз его искусства, ибо это глубоко личная его тема. Рерих с бесконечной любовью и нежностью запечатлевает Гималаи, стремясь навсегда удержать в памяти их облик.

В 1945 году он пишет свою последнюю прославленную картину «Помни» — это прощание с Гималаями, прощание навсегда.

Эмоциональный строй картины торжественный и величавый. Одиноким всадник, затерянное в громадах гор тибетское селение и панорама главного Гималайского хребта, освещенного встающим утренним солнцем, образуют в своем пластическом единстве прекрасный одухотворенный образ. Как и в картине «Меч Гесэра» образная композиция «Помни» строится художником на эмоциональном разрешении цветовых, линейнопространственных контрастов. Развитие эмоциональной напряженности картины идет в двух планах: развертывая сюжетную линию в фронтальной композиции (противопоставление всадника и хижин на фоне гигантской Гималайской стены), художник переводит тему прощания в сказочно-прекрасную мелодию наступившего рассвета, в мелодию победно разгорающегося солнечного сияния, которую, кажется, поют сами Гималаи из синих, холодных ночных теней.

В 1947 году все картины Н. К. Рериха уже приготовлены для погрузки на пароход. Он снова выходит в дорогу — в дорогу домой. Смерть застает его в пути.

Картины Гималайской серии Н.К. Рериха — это великий вклад старейшего русского художника в историю отечественного искусства, это одна из самых ярких и лучших его страниц. Это великолепные реалистические картины, одухотворенные верой в гуманистический светлый идеал, исполненные в традициях русской демократической школы живописи, прошедшей в лице Н. К. Рериха через тяжкие испытания эпохи кризиса живописи и долгих лет вынужденной разлуки с Россией.

Николай Константинович Рерих имел право говорить своим критикам: «Когда некоторые «старички духа» обвиняли меня в чрезмерном идеализме, я мог сказать: «Простите, именно я — реалист, ибо основываясь на знании и фактах, основываюсь на синтезе знания и красоты, а Вы — беспочвенные идеалисты, ибо верите клочкам бумаги. За нами жизнь. За нами переоценка ценностей. За нами гимн труду, творящему и руками, и мозгом, и духом. А за Вами пыль».

200

Авторы журнала

Биографические справки

СОДЕРЖАНИЕ

ОТ РЕДАКЦИИ

Леонид МАЧУЛИН. Пути - дороги 3

ПРОЗА

Виктор КРЮКОВ. Лучник 13
 Екатерина КОРОТКОВА. Жизнь-копейка 63
 Валерий ДАШЕВСКИЙ. Самозащита 103
 Владимир ПЕНЧУКОВ. Премьера 121

ПОЭЗИЯ

Михаил КУЛИЖНИКОВ. Святая Русь 5
 Николай ПЕРОВСКИЙ. «И полынья длиною в жизнь...» 61
 Николай ЗИНОВЬЕВ. «Скоро явится Мессия...» 101
 Светлана СЫРНЕВА. Посвящение Пушкину 113
 Константин САВЕЛЬЕВ. Я родом из сказки 118
 Юлия КОПЫЧКО. Женщина 131
 Олексій БІНКЕВИЧ. Сповідь мандрівника 137
 Татьяна СЕЛИВАНЧИК. Над суетою - лозой виноградной 146
 Николай ДМИТРИЕВ. «Не возьму я на душу греха» 157
 Сергей ЧЕРНЯЕВ. Обыкновенное чудо 167
 Борис РЫЖИЙ. В России расстаются навсегда 171

КРИТИКА, РЕЦЕНЗИИ

Володимир БРЮГГЕН. Зміст книги і зміст життя 143
 Николай ПЕРЕЯСЛОВ. «На мне сказался крах Союза...» 153
 Николай ПЕРЕЯСЛОВ. Невозможность критики 161

ПУБЛИЦИСТИКА

Василь Ширко. Шуми мой лес, шуми... 176

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ РУСЬ

Николай РЕРИХ. «Мы должны...» 188

АВТОРЫ ЖУРНАЛА

Биографические справки 200

Литературно-художественный журнал

СЛАВЯНИН

Том 3

Гл. редактор *Л.И. Мачулин*

Корректор *А.Н. Балабанова*
Художественный редактор *В.В. Вербицкий*
Вёрстка *А.И. Забродин*

Подписано к печати 20.12.2010. Формат 70x108 1/16. Бумага офсет.
Печать офсет. Гарнитура *PragmaticaCondCTT*. Усл. печ. л. 27,30.
Уч.-изд. л. 27,70. Изд. №2. Зак. №____. Тир. 200 экз.

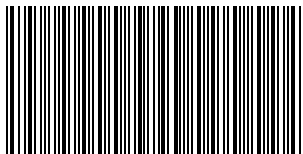
Учредитель: ООО «Институт Восточно-славянской цивилизации».
61012, Харьков, ул. Полтавский шлях, 9, кв. 1, 1А.

Адрес для писем:

а/я 9127, Харьков, 61057, Украина.
Тел./факс (057) 705-27-56
e-mail: editor01@list.ru

Издатель: Мачулин Л.И.

61057, г. Харьков-57, ул. Рымарская, 17, оф. 14.
Свидетельство о госрегистрации: серия ХК №125 от 24.11.2004 г.
ISBN 978-966-8768-48-4



966-8768-48-4